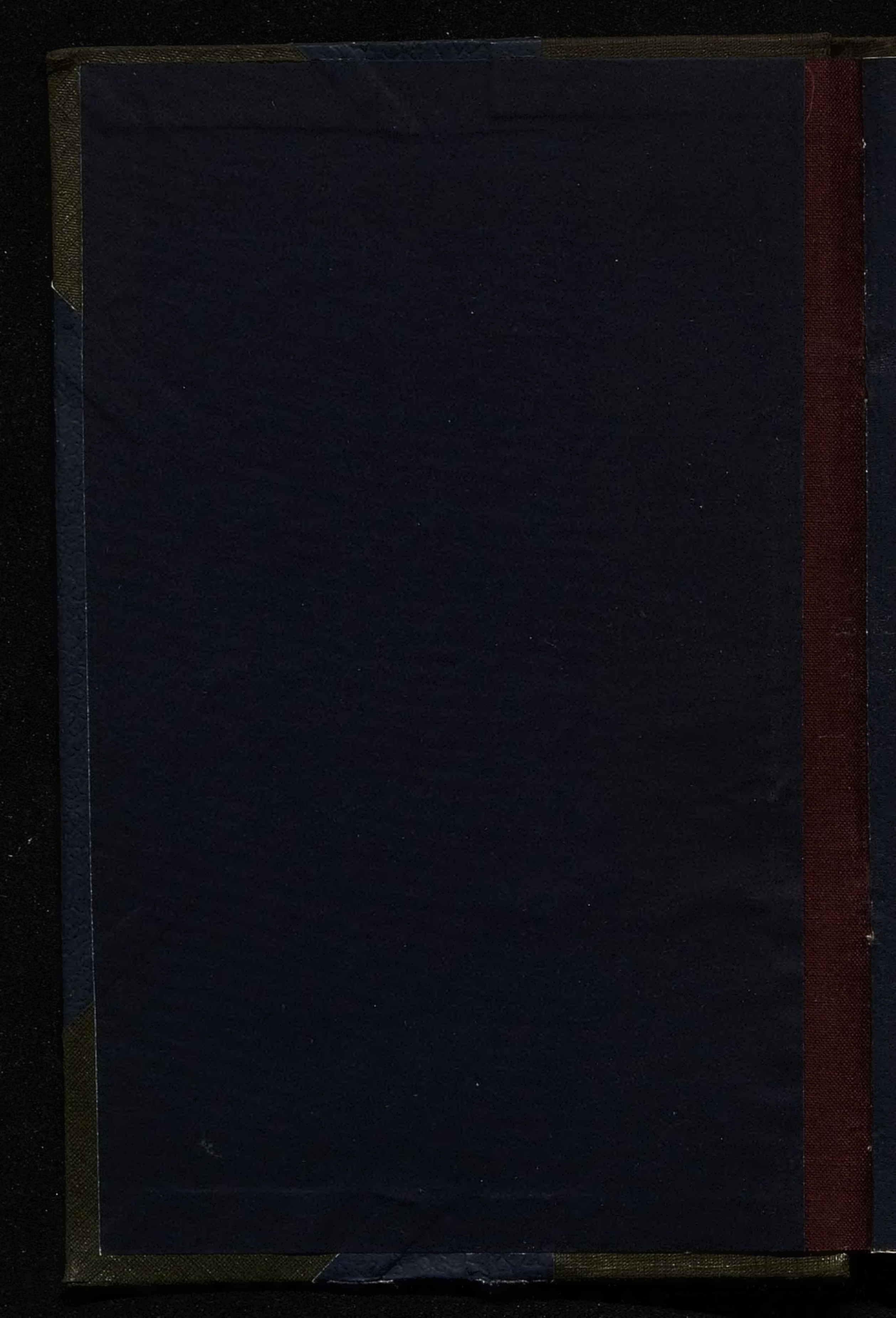
Мстиславский

ГИБЕЛЬ ЦАРИЗМА



С. МСТИСЛАВСКИЙ

ГИБЕЛЬ ЦАРИЗМА

ПРИБОЙ

С. МСТИСЛАВСКИЙ

ГИБЕЛЬ ЦАРИЗМА

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД



1927

Ленинградский Гублит № 35368 Тираж 10.000 — 9 л. Заказ № 727

Глава I.

ДИНАСТИЯ.

История, вообще, не знает трагического конца династий: их удел — вырождение, жалкий, в ничтожестве, расслабленности или безумии растворяющийся, на-нет сводящий до смерти еще — конец. Так кончили испанские Габсбурги, кончает австрийский «царствовавший» дом, Гогенцоллерны, Бурбоны, ветви германских мелкопоместных князей — Гессенских, Кобург-Готских, Саксен-Альтенбургских... чьими родословными все еще набит «поминальник» Готского Альманаха. Наука до настоящего времени холодно и вскользь отмечала эти явления предрешенной, неотвратимой дегенерации: такой темы небезопасно было касаться даже в монархиях конституционных. Только французские — республиканские — антропологи (Якоби, Галиппе и др.) попытались подвести некоторый научный базис под политические памфлеты, хлеставшие «дегенератов трона»... в моменты, когда начинал колебаться трон. И в этих немногих научных трактатах о вырождении царствующих домов наука бьет острее и жгу-

чей памфлета: так Галиппе, например, в первой части своей объемистой, строго документированной книги трактует... о бульдогах, во второй — о Габсбургах, устанавливая несомненное единство происхождения дегенеративных особенностей бульдожьей морды — и пресловутой «испанской губы», которой так гордились «породистые» представители Габсбургского рода.

Физическому вырождению сопутствует психическое. «Исчезновение аристократии — общий закон, доказанный историей» (Галиппе, 445): она вырождается под гнетом привилегий, притупляющих жизненную энергию, самую волю к жизни; праздность и роскошь разлагают и тупят; власть вырождает сильнее алкоголя и сифилиса; личность теряет способность находить опору в себе и только в себе; воля вырождается в каприз, мысль — в повеление. Брак с людьми того же тесного, узкого, привилегиями и властью отравленного круга — наследственной передачей быстро сгущает дегенеративные черты: психические — быстрее еще, чем физические. Смена поколений ведет, нагромождая признак на признак, к предуказанному наследственностью власти роковому концу: слабоумию, деспотизму, смерти при жизни. «Король» разлагает «человека»; но человек, разложившийся заживо, не может быть не только правителем, но даже и просто... королем.

«Российская царствующая династия» не избегла этой общей участи: и здесь, от поколения к поколению «венценосцев», быстро нарастали, смертными чертами врезаясь, при-

знаки «царственного» вырождения; особенности политической жизни России за последний век придали им, однако, особый, от западных образцов резко отличный характер: удар дегенерации шел не столько по линии тела, сколько по линии духа. Телом «династия» была относительно здорова: физические признаки вырождения привносились в царствующий Российский дом главным образом по женской линии — иностранными принцессами, через брачное ложе возводимыми на престол российских императриц. Их кровь имела преимущества «старшинства», а, стало-быть, и большего «заражения»: Романовы — если от геральдики итти — не из слишком древних родов, не говоря уже о том, что игрою случая, страстей и дворцовых переворотов — вопрос о степени кровности последних из рода Романовых поставил бы в некоторое затруднение исследователя, если бы кому-нибудь пришла эксцентричная мысль заняться никчемной задачей такого исследования. Для старо-русской «коренной» знати царствовавшие Романовы не были «родовичами». Напротив. Вспоминается, с каким доподлинным злорадством читало «родовитое» офицерство гвардейских полков в 1905 г. ходивший по рукам, подпольным Военным Союзом отпечатанный памфлет «Карьера одного воренка», посвященный генеалогии Романовых — от момента, когда из стана Тушинских «воров» поднят был первый отпрыск династии — сын тушинского митрополита Филарета, Михаил. В дальнейшем история совершала известный отбор: насильственная смерть — не случайность в Романовском

доме... или в доме Гольштейн-Готторпов, фактически сменивших Романовых в лице императора Павла: в этих условиях — наследственность власти не могла дать той быстрой и тяжкой физической дегенерации, которую давала она на Западе — в государствах, где династии устойчивы и, стало-быть, роскошно и безмятежно отданы вырождению.

Но тем сильнее сказались признаки психические. «Спокойное» царствование в истории русских самодержцев было исключением: им приходилось жить в условиях, при которых не только «наследственность власти», но даже «наследственность жизни» становилась сомнительной. Было время, когда они ежечасно чувствовали себя под угрозой ощутить на шее офицерский шарф, сжимаемый рукою какого-нибудь Палена. Позднее — угрозу эту сменили бомбы террористов. Уже на Александре III это ощущение смерти, стерегущей за порогом, эта возможность гибели в любой момент, если только допустит оплошность «охрана», оказала чрезвычайное, по силе, действие. Кому случалось видеть третьего Александра на выходе, на параде, на случайном проезде по улице — всюду, где к нему вплотную хоть на короткий момент придвигались люди, — никогда не забудет затаенным, но нестерпимым, злобным страхом застывших глаз, судорогой подергивающихся толстых щек. Он пил упорно, необузданно и дико, запоем, топя в забытьи опьянения и похмелья этот неотступный, воистину смертный страх. Этот страх определял все: отсюда и «окружение», подбиравшееся исклю-

чительно по признаку «надежности», из людей, на которых можно положиться—не в делах государственных — нет! — но в деле личной безопасности, личной жизни: ибо и самая цель «государственной» политики самодержца сводилась в конечном счете к заданию обеспечения «мирного и славного царского быта»; отсюда и религиозность, поскольку религия — прибежище всех «боящихся», в себе самом потерявших упор, и исступленное цепляние за самодержавие — не как за неограниченную власть (главное было не в этом), но как за «помазанничество божие», утверждающее неприкосновенность «помазанного на царство»: именно не право его на власть, но право на неприкосновенность. Чем была, в условиях этих, царская жизнь, свидетельствует в одном из писем своих сам Александр: «Так отчаянно тяжело бывает по временам, что, если бы я не верил в бога и в его неограниченную милость, конечно, не оставалось бы ничего другого, как пустить себе пулю в лоб».

В Николае Александровиче психический надлом отца получил дальнейшее развитие по тем же причинам и в том же направлении. И здесь «государственное» было отодвинуто «личным» в самый дальний угол. Государственным человеком, политиком Николай не был, не потому только, что образованием своим он менее всего был подготовлен к ответственной политической работе, но и потому, что все это его ни в малой мере не интересовало. Он «служил», как служили прожившиеся вельможи былых времен, вынужденные «служебным окладом» поддерживать ру-

шащийся свой быт; какой-либо своей «программы», своих политических взглядов он не имел. «Помазанничество», незыблемое блюдение основных законов, дававшее ему «по правилам государственной игры» неприкосновенность шахматного короля, диктовалось, как и у Александра III, чувством самосохранения; он еще крепче отца держался этой «королевской» неприкосновенности, ибо только она одна отличала его от простой пешки: по уровню своему, это был ординарнейший гвардейский офицер, знавший русскую историю по истории походов и коронований, не имевший понятия об экономических науках, право — разумевший в пределах «высочайшего повеления», а в области художественных вкусов своих считавший венцом литературного творчества — «Морские рассказы» Станюковича, и высшим достижением изобразительных искусств — картины художника Соломко, которыми завешивал он стены своих дворцов. Его письма, — как правильно отметил кто-то из писавших о нем после революции, — напоминают «счета от прачки или метеорологические бюллетени». Ни проблеска чувства и ни проблеска мысли. В отличие от предшественников, «завещавших» ему коллекции порнографических картин такой изощренности, что их невозможно демонстрировать даже для целей научных, даже для характеристики психопатизма, до которого докатился вырождающийся род, — Николай Александрович был примерным семьянином: черта — свойственная ему с юношеских лет. Известная балерина Мариинского императорского театра в Петербурге, Ма-

тильда Кшесинская, — одна из немногих, почтенных милостивым вниманием Николая еще в бытность его наследником, — горько жаловалась другим своим поклонникам на эти «семейные наклонности»: Николай просиживал у нее или в кругу ее семьи, со стариками Кшесинскими, целые долгие вечера — молча, или раскладывая пасьянсы, «убивая время» монотонно, скучно, тягуче, изо дня в день. Он точно прятался от жизни в тесный, замкнутый, опресненный до обывательского застоя, мирок. Когда, впоследствии, уже после отречения, он говорил об удовольствии, которое доставляет ему колка дров, прогулки и к одной семейности сведенный круг, — он был несомненно искренен: он не мог не испытывать огромного облегчения от сознания, что он приобрел, наконец, право — ни о чем не думать. За весь период его долгого и бурного царствования ни разу, по существу, не отметился в нем захват совершавшимися событиями. Он был, оставался зрителем их, нервным в той мере, в которой они грозили его «быту», рушили его столь неустойчивое спокойствие. В годы первой революции — апатичность его, его «зрительность» возмущала окружавших. Помнится, великий князь Николай Михайлович с негодованием рассказывал в кругу историков-профессоров, с которыми он поддерживал общение, что на настойчивое предупреждение государя о грозящей революционной опасности, о необходимости принять меры к страхованию династии от опасности переворота Николай рассеянно ответил: «Да, да, очень интересно, чем все это кончится». В разгар аграр-

ных волнений 1905 года, потребовавших для подавления целой огромной армии, в дни, когда надвигались уже осенние события, приведшие к октябрьскому «конституционному» манифесту, он увлекался чтением отчета по ливадийскому своему имению, запечатлев на полях этого отчета мысль, посетившую его августейшую голову в эти критические дни, краткой, но многозначительной пометкой: «Ах, как я люблю чернослив!». Сколько огорчений доставляла эта «тяга к спокойствию» любою ценой — жене царя Александре Федоровне, жестоко упрекавшей его за это в своих письмах: «Когда же ты стукнешь кулаком... Никто тебя не боится, а они должны, они должны дрожать перед тобой, иначе все будут на нас наседать. Надо подталкивать и напоминать, что ты император...». Он относительно легко схватывал, что ему говорят, но «обернуть» вопрос он был бессилен. Его речи бывали всегда «напеты» со стороны, очередным «государственным суфлером». Если этого не было, он соглашался с собеседником. Отсюда — вероломство, в котором его столь многие обвиняли: он мог легко отречься от «убеждения», которое вчера еще «разделял»; нарушить данное в связи с этим «убеждением» обещание. Он легко подпадал, в силу этого, под влияния и легко освобождался от них. Императрица «держала его в руках» накрепко; но достаточно было ему удалиться в поездку, — с каждым километром удаления—ее влияние слабело, а при долгих отлучках — и вовсе сходило на-нет. При свиданиях с иностранными монархами, с глазу на глаз, как, хотя бы, во

время знаменитого свидания с Вильгельмом в Бьорке, он поддакивал по всем пунктам, но искренно забывал, что именно он «поддакнул» — как только уходил из-под гипноза своего собеседника. За рубежом черта эта стала общеизвестной после того, как он побывал за границей. Оценка умственных способностей Николая была там вполне единодушной: типичнейшей для западных сатирических журналов карикатурой — в годы первой революции — была картинка, изображавшая Николая, которого окликает в испуге просунувшийся в двери казак:

«— Государь! они требуют вашей головы.

«— Скажи им, что у меня ее никогда не было».

Линия его «политических» симпатий и антипатий определялась тою же, что и у отца, основной предпосылкой: спокойствия. Он ненавидел все, что грозило спокойствию и безопасности. В данном отношении он не делал различия между революционерами, земцами и собственной любовницей: не все ли равно — от кого, во имя чего — политической программы, личных чувств или еще чего-нибудь — шло «беспокойство»? Мы особенно подчеркиваем эту характернейшую, именно вырожденчеством своим, черту. Николай не был реакционером в подлинном смысле слова; по убеждениям своим (если можно говорить в данном случае об убеждениях) он был типичнейшим нигилистом. Он держался упорно и цепко за старое только потому, что обостренным вечною угрозою чутьем чуял, что каждая политическая уступка грозит ему катастрофой; что династия уже проиграла

больше, чем может заплатить. В высокой мере показательно, в данном смысле, его отношение к последней войне: императорское «окружение» рвалось к войне, видя в ней спасительный клапан, способный обратить в «мятый пар» — военной переработкой — накопленную в подымавшейся в те годы буржуазии энергию. С нею они считались больше, чем с рабочим движением, хотя оно давало,— сквозь хмару столыпинщины, виттовщины, коковщины, — бодрые, живые, нарастающей революционной силой напоенные, ростки. И ход событий показал, что в отношении буржуазии тогдашние правители России не просчитались. Она действительно с увлечением и подъемом «впряглась в колесницу войны», и на почве этого подъема правящей бюрократии не трудно было бы своевременно перебросить спасительный мосток, — через готовую, нарастанием революционных настроений, раскрыться пропасть, — к конституционной, страхующей на годы, на поколения, быть может, монархии. Но Николай не понял этого; не мог и не хотел понять, сколь упорно ни втолковывали это ему его советники. Война была для него крушением спокойствия, выходом в неизвестное: он упорно и упрямо отказывался подписать указ о мобилизации, от своевременности которой зависел в огромной мере успех стратегического развертывания русской армии, а стало-быть в значительной мере и самый успех войны. Он отменил отданный им-было (15 июля) приказ в тот самый момент, когда телеграмма об объявлении мобилизации уже распределена была по аппаратам. И когда вторично

его удалось уговорить, — через два дня, с опозданием, заставлявшим скрежетать зубами генеральный штаб, — подписать приказ о мобилизации, военное командование выключило дворцовые телефоны, временно прервало всякие сообщения с Царским, где находился государь, и предложило генералу Янушкевичу, в компетенцию которого входило проведение мобилизации, скрыться с квартиры, чтобы гарантировать себя от возможностей вторичного отбоя. Колебания эти дали в свое время повод к разговорам, тихим шопотком, о германофильстве императора. Позднее, когда стало известно о «частных» сношениях, которые велись Александрой с ее германскими родственниками, стали говорить и о прямой измене. Этому вопросу посвятила особое внимание и «чрезвычайная следственная комиссия», учрежденная Временным Правительством. Прямых результатов следствие не дало, да едва ли вообще можно говорить здесь о германофильстве в подлинном смысле слова, — все по той же простой причине — отсутствия у Николая какой-либо политической ориентировки вообще. Он уклонялся от столкновения не с Германией, но с Вильгельмом. Гогенцоллерн всегда импонировал ему своей активностью, своей «сатанинской волей», своим «жестом»; Николай боялся Вильгельма, как боялся всякого сильного человека. Он не любил его, как не любил Столыпина, хотя Столыпин фактически спас династию в 1906 г.; ненавидел Витте, — хотя в деле «спасания останков» самодержавия и этому господину принадлежит определенная честь, которую

он — в бытность свою в немилости — тщетно пытался потемнить брюзжанием своих мемуаров. Вильгельм пугал Николая слаженностью прусского военного аппарата, методичностью работы давно готовых к войне штабов; Столыпин и Витте — зависимостью, в которой ощущал себя перед их властностью император. Но Столыпин опирался на дворянство — более близкое, менее страшное Николаю «сословие»; Витте пытался повести за собой буржуазию, к которой Николай, как «первый дворянин» своей империи, питал, по традиции, пренебрежительное и злобное недоверие, как к чужому, на исконные дворянские привилегии покушающемуся, да притом еще «дурно воспитанному» классу.

С тем большей радостью отмечал он всякую меру, успешно подавлявшую «беспокойства»: в бесконечном ряду высочайших резолюций, однокалиберных и штампованно-тусклых, как медные пуговицы казенного бушлата, вырываются искрами темперамента лишь те, которыми отмечаются удары, нанесенные «сеятелям смуты» — будь то террористическая организация или безвреднейший уездный учительский съезд. Охрана при Николае была доведена до последних пределов: когда император проходил, вне официальных приемов, по-домашнему, амфиладой дворцовых зал, — перед ним и за ним, на комнату вперед, на комнату сзади, крались вдоль стен вооруженные охранители, отобранные из особо, абсолютно-надежных жандармов и солдат. «Предполагалось», что они незримы императору; каждый попавший в его поле зрения немедленно увольнялся со

службы за неловкость; ибо неприлично и оскорбительно показывать императору, что он охраняется чем-либо иным, кроме всеобщей любви своих подданных. Но, само собой разумеется, Николай не мог не видеть этой «невидимой» охраны; он «делал вид», он принимал ее молча, как молча принимал «одинокие» свои прогулки по парку, во время которых — за кустами, за деревьями, во всей окрестности — рассыпались охранники и солдаты сводно-гвардейского, на уровне жандармской благонадежности стоявшего, полка.

Ощущение неослабной охраны должно было в известной мере успокаивать, но — в то же время оно не могло не напоминать ежечасно, что жизнь императора под ударом: гнет страха оставался неизбывным при каждом выходе за тесный круг «своих»—семьи и особо отобранных приближенных. Так было с самого детства: когда ребенком он жил в Гатчине, «династия» чувствовала уже себя в «террористической осаде». Подрастая, он замкнут был между парадом и церковью: выезды в город — тем более свободные выезды — воспрещались из предосторожности. Кругосветное путешествие, в которое отправлен был он со свитой из молодежи Гусарского и Преображенского полков, под водительством старого бражника князя Барятинского, шло в условиях такого же фактически, как и в Гатчине, одиночного заключения, но с выпивками, столь обильными, что в Японии поведение «высокого гостя» и его свиты в храмах, оскорбившее верующих туземцев, привело к покушению на Николая одного из японских полицейских, призванных

его охранять. Удар — саблей по голове — был сдержан греческим королевичем, шедшим рядом с Николаем. Но след остался. Ранение привело к разрушению костного вещества черепа по обе стороны от травмы, чем создано было давление в левой половине мозга, отражавшееся на психических функциях. Случай этот должен был научить Николая не доверять даже охране. Крушение в Борках — еще при жизни отца — не могло также не наложить известный отпечаток. И в последующем—ничто не могло снять этого отпечатка. Конечно, его охраняли денно и нощно с таким тщанием, что «в свете» острили даже, будто начальник императорской охоты генерал Кутепов перед облавами, на которых его величество будет стрелять, выдергивал зубы зайцам «для полной безопасности». И все же от срока к сроку — вскрывались недочеты охраны, несмотря на всю изощренность, всю напряженность ее системы: то на прогулке высочайший встречал конного офицера, никому неизвестного, пропущенного в парк часовыми потому только, что он проехал мимо них в ворота уверенным и неторопливым курцгалопом, что заставило их принять его за великого князя, который на окрик ответит арестом; то — на процессе террористов вскрывалось, что сквозь охраняемый стрелками—под каждым кустом—парк свободно, без пропусков и досмотров, циркулируют чухонки-молочницы из соседней деревни, поставляющие молоко служащим дворца — и под их одеждой легко мог пробраться ко дворцу террорист. Следы революционных связей тянулись, неуловимые, сквозь

гвардейскую, даже сквозь придворную среду; в егермейстерских, в генеральских квартирах находили динамит, оружие, прокламации. Временами круг революционной, подпольной осады смыкался настолько тесно, что выезды из дворца приходилось совершенно отменять; поездки по сухопутью — стали редки; за железнодорожный транспорт нельзя было отвечать, хотя на охрану железных дорог при высочайших поездках тратились бешеные деньги: в 1912 году израсходовано было на этот предмет 600 000 рублей, в 1913 — 750 000. Более или менее безопасным император чувствовал себя только на собственной яхте, где обшарен был каждый уголок, где каждый человек был учтен и подсчитан и где ненавистная и грозная «толпа» удалена была от «высочайшего тела» — волнами, шхерами, пикетами побережной стражи. Однако и здесь... был же случай, когда командир императорского «Штандарта» посадил судно на мель, а при спуске «высочайших» на шлюпке к берегу, охрана, в избытке усердия, открыла по «десанту» огонь.

Есть что-то нестерпимо жуткое в этом существовании, в котором доминирующая мысль есть мысль о сохранении существования. Ощущение опасности — в условиях пассивного переживания его (ибо император сам по себе, конечно же, оставался пассивным; его «охраняли»), при невозможности ориентироваться — где, когда и откуда она грянет — неизбежно и остро приводит к «силам неземным», как последнему средству забаюкать вечно нависающий страх. И Николай бросался от оккультизма к православию, от

Серафима Саровского (которого он восчтил после того, как через департамент полиции был поставлен в известность, что Серафим предсказал «долговременную жизнь государю» и «благоденственное царствование» после тяжких испытаний первых, по вступлении на престол, годов) — к «чернокнижнику» Папюсу и гипнотизеру-шарлатану Филиппу, и обратно. В его вагоне, в царском поезде, рядышком стояли две, высокою ценой оплаченные, палки: Филиппа и Распутина. Правда, к оккультизму, пышно расцветшему в придворных кружках эпохи заката царизма, император подходил осторожно, с известной опаской; его пленяли, конечно, как он сознавался Витте, «откровения» Папюса — «такие, что если следовать им, можно управлять страной и без министров даже», но . . . мощи, испытанные веками, казались ему все же надежнее пассов и магической цепи сплетенных, таким же, как у него, страхом сведенных, мизинцев: молитву он предпочитал заклятию. Это было в его характере. Заклятие требовало воли, которой у него не было; молитва баюкала, не тревожа воли. Он был суеверен, суеверен до того, что во время войны прекратил было поездки по фронту, так как ему показалось, что он «приносит несчастье»; Александра Федоровна еле его отчитала. Перед заседаниями он не забывал (по настояниям императрицы) подержать в руке образок и несколько раз — обязательно несколько раз — расчесать волосы гребенкой Распутина. Он чувствовал непреодолимый страх перед «ясновидением» Распутина, до такой меры, что, несмотря на чрезвычайную свою брезгли-

вость, покорно доедал «корочки» и другие объедки, которые по временам посылал ему в виде особой милости — этот второй «некоронованный царь» конца николаевского царствования.

Те же черты, врезанные глубоко теми условиями, в которые замкнуто было самодержавие в эпоху двух революций, присущи были и жене Николая — Александре Федоровне, урожденной принцессе Алисе Гессенской. Но в ней они выявлялись еще резче, еще непереноснее потому, что она еще более тяжело, чем ее муж, была отягчена наследственностью, и, не в пример мужу, у этой женщины была воля. И прежде всего — воля к власти.

Представительница худосочного, в смысле размеров владения, но богатого семейными связями рода, она естественно тянулась к власти; более того—она пьянилась ею. Для Николая власть была «бытом», власть определяла быт; и он держался за нее потому только, что попросту не мыслил себя вне привычного ему быта. Он боялся перемены и только; когда же жизнь насильно выбросила его вон, в другой быт, он принял и его — как только он «устоялся», перестал беспокоить. Роскошь не была пороком Николая: она была слишком привычна ему. Он щеголял тем, что заставлял ставить себе заплаты на рейтузы и в личных своих тратах был более чем умерен.

Совсем иным был, в данном отношении, облик Александры Федоровны. Роскошь для нее, бедной принцессы, была новостью; она тянулась к ней, она требовала ее. И власть

имела для нее самодовлеющую цену; она жила этим ощущением власти; это сказывалось в ее обращении с окружавшими, в ее приемах, в ее переписке. Но воля к власти не делала ее политиком, тем более «государственным деятелем»; мысль ее работала, по существу, в том же направлении, что и мысль мужа — в направлении охраны спокойствия, охраны существующего царского быта, царского почета, царского произвола. Разница лишь в том, что Николай откровенно думал об охране быта, а она — об охране власти, охраняющей быт. На этом сложилась доподлинно тесная связь императора и императрицы. Поскольку в паре этой она представляла волевой элемент, ей естественно выпадало первое место. «У меня сильная воля, я лучше других вижу их насквозь и помогаю тебе быть твердым». Она чувствовала себя больше мужчиной, чем Николай. «На мне, — читаем мы в одном из ее писем, — надеты невидимые брюки, и я смогу заставить старика (Горемыкина) быть энергичным». Николай демонстративно подчеркивал ее главенство — во всех случаях жизни.

Письма Александры к Николаю носят печать приподнятой, экзальтированной, по временам, любовности, и эта любовность искренна, так как Николай был не только «примерным», в обывательском смысле слова, мужем, но и источником власти — для этой голодавшей по власти гессенской принцессы. Он, и только он, давал ей эту власть. Сохранение этой власти и этой жизни было поэтому для нее доподлинно вопросом жизни и смерти; она охраняла ее всеми ей доступными средствами, формируя императору

окружение, казавшееся ей наиболее надежным; она боялась за его жизнь больше, чем боялся за нее сам император. Религиозность Александры Федоровны, двойным действием наследственной истерии и благоприобретенного страха, приняла чрезвычайно острые формы, к концу ее жизни — в период Распутинства — обратившись в доподлинное религиозное помешательство. В ее комнатах иконы насчитывались сотнями; благословение иконой стало обычным жестом ее благосклонности; с ее легкой руки, в придворных кругах икона вытеснила бомбоньерки, став формой «выражения внимания», единственно отвечающей «хорошему тону». Даже придворные проходимцы, вроде князя Андронникова, подносили вновь назначенным министрам — в виде взяток — иконы. Поскольку Распутин в глазах Александры являлся доподлинным провидцем, «божьим человеком», способным знать волю бога и указать ее — она отдала себя в его руки, как орудие осуществление божественной воли. И сама борьба, которую она вела за власть, виделась ей чем-то отрешенным от земного, хотя проявлялась она в отставке одних чиновников и в замене их другими: «наши души борются за правое дело против зла. Это гораздо глубже, чем кажется на глаз. Мы, которым дано все видеть с другой стороны, — видим, в чем состоит и что означает эта борьба».

Составлявшее существо Николая и Александры — до конечного предела доведенное «личное» — не могло не привести к совершенному одиночеству «царственную чету», даже в кругу «августейших» — бесчисленных ве-

ликих князей и княгинь, «дворы» которых, коронованным архипелагом больших и малых островов, располагались вокруг «большого двора».

О большинстве князей этих нечего сказать в плане историческом, ибо они, по библейскому тексту, «выполняли завет божий — населяли землю», пользуясь достаточными для беспечной и широкой жизни доходами: от министерства двора, удельного ведомства, собственных имений или даже предприятий, по преимуществу винодельческого характера, поскольку у всех почти были имения в Крыму и на Кавказе. Они носили военные мундиры, служа или не служа — и, во всяком случае, только подписями на бумагах запечатлевая свое участие в управлении. Константин Константинович — президентствовал в Академии Наук, писал корявые стихи под скромным псевдонимом «К. Р.» и, заикаясь, играл в Эрмитажном театре Гамлета, в «собственном» переводе, выполненном «дискретной» наемной рукой. Николай Михайлович — при помощи таких же безымянных и дискретных рук—обогащал «собственными» трудами отечественную историографию. Дядя императора, Владимир, командовал гвардией, щеголяя несосветимым бурбонством в стиле Александра III и высоким умением говорить «матерные слова» перед фронтом — во свидетельство своего «православия, самодержавия и народности»; именно он ввел в гвардию обычай аристократического сквернословия, в котором офицерство упражнялось так же, как в давние годы — во французском языке. Другой дядя импера-

тора — Алексей, грузный, как брат его, сгубленный нефритом, прославленный неистовыми тратами на французскую артистку Балетта — одну из звезд Михайловского императорского театра — ведал флотом. Еще один старик — был генерал-фельдцейхмейстером, обессмертив себя возрождением киверов. Принц Александр Петрович Ольденбургский, бестолковостью своей заслуживший при «большом дворе» титул «Сумбур-паши», занимался, по фамильной традиции, медицинскими делами, деля досуг между Институтом экспериментальной медицины и цыганкой, которую содержал он в Старой Деревне; его жена, принцесса Ольденбургская, коллекционировала горные породы и была председательницей Минералогического общества. Молодые «Владимировичи» — славились пьяными дебошами, раздеванием ужинавших с ними дам в ресторанной зале «Медведя» и т. д. и т. д... Коротко же говоря, весь этот мирок «малых дворов», уснащенный гофмейстерами, шталмейстерами и дамами разного звания, жил откровенным позолоченным велико-мещанским бытом, совершенно не мешаясь в политику; в отличие от «большого двора» он не ощущал над собой ежечасно революционной угрозы, а стало-быть ему незачем было думать о политических делах.

В этой кунсткамере особняком можно было бы поставить только две фигуры: великих князей Николая Николаевича и Михаила Александровича.

Николай Николаевич был в «августейшей семье» носителем династического начала, который утерян был фактически в их непре-

рывном страхе за собственную — и только собственную — жизнь царствовавшими представителями династии. «Солдат» с головы до пят, сросшийся с мундиром до утраты ощущения собственной человеческой кожи, он являл собою целостный, до конца выдержанный тип тех «генералов с бычьими мозгами», о которых так хорошо написал, в свое время, Анатоль Франс. Отпрыск «не царственной ветви» — он носил явственно-затаенную волю к власти; в расчете на будущее, он стоял верным часовым на страже престола; именно престола, ибо Николая, безвольного, растерявшего самого себя, утонувшего в быте — он откровенно и яро презирал. Царствовавший Николай боялся этого «длинного» — по огромному и несуразному росту своему — дядю: не по одному только телесному своему формату он казался сам себе пигмеем по сравнению с этой гвардейской фигурой: Николай Николаевич имел и «духовно» огромные преимущества перед ним. Превосходный службист, знавший уставы от начала до конца и от конца до начала, больше привыкший к казарме, чем ко дворцу, он умел находить слова в общении с офицерами, устанавливать с ними связь, не в пример Николаю, не шедшему дальше притоптывания шпорой перед фронтом, дерганья шеей и трафаретных мертвых вопросов «представляющимся», причем он зачастую умудрялся перепутывать весьма азбучные — с военно-профессиональной точки зрения — вещи. Великий князь Николай импонировал офицерству. Гвардия ворчала на него за огромную служебную тре-

бовательность, за неистовое «подтягивание», но шла за ним: она чувствовала в нем силу. В дни первой революции—1905 г.—он стал во главе, его инициативой созданного, «Комитета государственной обороны», принявшего на себя задачу вооруженной защиты монархии против революции. Он создал подлинный боевой штаб контр-революции, сосредоточивший «цвет» тогдашнего генерального штаба, стянувший к себе все нити активных боевых монархических сил. В годы реакции, сменившие революционную бурю 1905 — 1906 годов, он отошел в тень, но для монархистов он остался «стражем самодержавия», «блюстителем престола», верховным главнокомандующим «черных». И в дальнейшем, чем глуше заходило в тупик самодержавие, тем с большей надеждой произносилось его имя в дворянском феодальном лагере, ощущавшем жуть за свои судьбы — в меру того, как видели они «шатание трона». Назначение его в империалистическую войну верховным главнокомандующим, его фронтовые и в особенности прифронтовые — «гражданские» — меры, в которых сказалась его жесткая и уверенная рука, высоко подняли его авторитет. В действующей армии он сумел стать очень популярным. В меру роста этой популярности, особенно усилившейся после взятия Львова и Перемышля, росла и ненависть к нему «маленького», царствующего Николая. Великий князь, при всем его презрении к «маленькому», был до того времени абсолютно лойялен; более того, во всех случаях он подчеркнуто выявлял свою верноподданность. Но слухи о готовящемся

«перевороте» роились, «большой двор» шипел сплетнями. Императора предостерегали. Он чудесно понимал, конечно, что фактически единственной реальной силой, охраняющей его — не от одиночных ударов бомб подпольных организаций, но от тяжелого, неотразимого удара масс — является армия, армия, отбившая уже — не столько даже остриями своих штыков, сколько тупой застылостью послушных команде шеренг — великий, но бесстройный подъем пятого года. Верховный главнокомандующий на глазах у всех уводил эту решающую силу под свою властную руку. Тревога в «большом дворе» росла. Императрица проявила волю: ее переписка с Николаем свидетельствует о том, как упорно, шаг за шагом, все настойчивее и злее толкала она императора на разрыв с дядей. И она, как Николай, верила только в две силы: «Верю в бога и армию. Они нас не покинут». И, когда явились признаки, что Николай Николаевич «уводит армию» от Николая Александровича, она попыталась «отбить» ее обратно путем неустанных объездов фронта императором. Николай Николаевич препятствовал этим объездам, справедливо опасаясь за целость императора при такой циркуляции. Это было истолковано, как желание отстранить его от войск, и еще больше усилило подозрительность Николая и Александры. Полагаясь на распутинские «молитвы», императрица отгоняет страх и настаивает на поездках: «Ты должен показываться войскам везде, где только возможно, а благословение и молитвы нашего друга принесут свою помощь» (27/II—

1915 год). Но, в смысле воздействия на войска, объезды не только не помогают, но, пожалуй даже, дают обратный результат. И Александра осторожно, шаг за шагом, подводит дело к отставке верховного главнокомандующего. «Нашего друга (Распутина) так же, как и меня, возмутило то, что Николай Николаевич пишет свои телеграммы, ответы губернаторам и т. д. твоим стилем; он должен бы писать более скромно и просто» (4/IV). «Н. мало понимает нашу страну, а импонирует министрам своим громким голосом и жестикуляцией»... Подходы эти завершаются истерией в целой серии писем: «Никто теперь не знает, кто император... Кажется со стороны, будто Н. все решает, производит перемены, выбирает людей... Это приводит меня в отчаяние»... «И в обществе не понимают положения Н. Н.... нечто вроде второго императора, который во все вмешивается»... Все эти удары по самолюбию Николай, однако, сносил: он боялся Николая Николаевича, но еще больше боялся тех беспокойств, которые вызовут удаление этой длинной фигуры, за которой он чувствовал себя в безопасности от внешнего врага: операции, как ни как, шли довольно успешно. На истеричные письма Александры он отвечал поэтому меланхолическими телеграммами: «Нежно благодарю, идеальная погода, поет соловей». И лишь после того, как Московская городская дума, один из центров общественной оппозиции, вынесла резолюцию 19/VIII, в которой выражалась «вера в русскую армию и ее вождя — великого князя» — Николай счел необходимым принять меры: он сместил Ни-

колая Николаевича и сам занял его место; великий князь был «сослан» на далекий кавказский фронт. Это еще более подняло его популярность в известных кругах. Можно было ожидать, что, если бы он бросил свое имя против имени императора, «старая Россия» стала бы за него. Но он сохранил до времени лойяльность.

Совершенно иной облик имел второй из «особливых» великих князей, Михаил Александрович. Николай Николаевич мог выйти к власти, к престолу только на путях катастрофы; его трон мог стать только на обломках старого или, в лучшем случае, на его месте, сменой его: прямого законного пути к власти у «длинного» Николая не было. Напротив того, Михаил являлся фактически естественным наследником занятого Николаем престола: цесаревич Алексей был слишком явно «нежилец» — с его гемофилией и прочими наследственными недугами по отцовской и материнской линии. Акт о престолонаследии предрешал царствование Михаила, рано или поздно, если . . . ему не пресечет дороги кaaя-либо «третья сила». С этой-то третьей силой и надлежало, для полной страховки, установить заблаговременно связь. Михаил ждал своего часа, затаясь. Он достаточно зорко присматривался, в стороне от событий, старательно отстраняясь от всяческого активного участия в них, к той смене общественных сил, которая столь явственно совершалась в николаевские годы, отыскивая в них нужную ему «третью силу». Он сумел оценить нараставшую силу буржуазии, шедшей на смену одряхлевшему, физически и

имущественно выродившемуся дворянству. В отличие от обоих Николаев, из которых один искал, по традиции, опоры в «верном дворянстве», хотя оно давно уже само ходило на костылях, а другой — в офицерстве, в командном составе полков, уже начинавших перерождаться, начинавших оживать тою жизнью, которой все напряженнее и звонче бился пульс масс — он, после некоторых колебаний, взял определенно курс на «новый класс», на буржуазию. Он знал, что слух этого нового класса шокирует слово «самодержавие»; что правлению буржуазии — в период ее становления — приличествует образ «конституционной монархии». И на конституционность эту он с достаточной определенностью, — при случае и без случая, — выражал готовность. В «обществе», в политических кругах буржуазии о нем говорилось вполне недвусмысленно, как о наиболее желательном кандидате на престол, поскольку он является «искренним и убежденным конституционалистом», а по образу жизни, по всему укладу своему являет умеренность и благоприличие, столь близкое и ценное буржуазному кругу. Талантами он не блистал; разумом был не бросок; «демократичен» в обращении, мягок на язык—качества, опять-таки, как нельзя более ценные в государе конституционном. Кандидатуру его готова была поддержать и часть гвардейского офицерства, находившаяся под влиянием буржуазных политических партий. Гвардия эпохи последних лет Николая не была уже чиста по крови; во многих полках, особенно конных, буржуазия, — денежная по преимуществу,

способная, не в пример оскудевшему дворянству, вынести бремя расходов, которых требовала служба в «дорогом полку»,—оттеснила на задний план родовое дворянство. К этим дворянам по мундиру, по эполетам, — не по гербу, — нетрудно было протянуть политические нити от того буржуазного круга, с которым связаны были они родством и свойством. Да и в дворянской среде немало находилось таких, что сознавали, что перед лицом организующегося буржуазного класса дальнейшее существование монархии мыслимо только в конституционных формах. И, поскольку император Николай, — однажды обманув на конституции, откупившись от накинутой ему на шею октябрьской стачкой петли «бронзовым векселем», на требование оплаты которого он ответил в дальнейшем тремя тысячами виселиц, сотнями погромов и массовых расстрелов, — уже ни в ком не мог встретить доверия, на каких крестах, мощах и евангелиях он бы ни клялся; поскольку великий князь Николай был символом борьбы за самодержавие против всяких конституционных умалений, вождем черных монархических, мракобесных кругов, — наиболее приемлемый для всех, по существу суливший наименьшие потрясения исход представляла кандидатура Михаила. Еще до войны наиболее нетерпеливые из его приверженцев, члены гвардейских политических кружков, предлагали взвести его на престол — коротким ударом внутреннего караула в императорском дворце, — старым, испытанным в российской гвардии способом. Но Михаил отказался. Он предпочитал играть

наверняка: он ждал, затаясь, «своего часа».

Казалось, час этот должен был наступить неизбежно. Ибо мундирная кандидатура Николая Николаевича не могла заступить Михаилу дороги, даже если бы Николай решился на окрытое «выступление» против «законной власти»; ведь, в конце концов, за ним стояла только старая, отмирающая Россия,— Россия дворянских «зубров», растерявших свои заповедники. Офицерство не в счет: популярность верховного главнокомандующего не однозвучна популярности претендента. Всего этого было слишком мало — для успеха на путях «незаконных». А на законных путях — Михаилу приходилось считаться лишь с царствующим Николаем; падение же его — тем или иным способом — казалось совершенно неотвратимым, поскольку изоляция его росла с каждым днем, поскольку каждый день расшатывал и без того шаткую опору созданного «сверхличным» его режимом — окружения. Ибо окружение это не имело опоры.

Глава II.

«ОКРУЖЕНИЕ».

Вплоть до революции 1905 года «царствующий дом» фактически не задавался вопросом, чем он в сущности держится на троне. Предполагалось, что вместе с троном завещана и его «опора», и, поскольку колебания незаметно, о «базисе» не приходится забо-

титься. Бюрократическая машина, слаженная предшествующими царствованиями, работала тягуче и нудно, но без перебоев. Правда, традиционный дворянский базис скудел, при двусмысленной помощи — левой рукой подымавшего, правой рукой топившего дворянское землевладение — Дворянского банка. Ворошился по медвежьим углам «третий земский элемент». Росло и оформлялось революционное движение. Подхлестывая промышленников и городских думцев на либеральную или даже радикальную оппозицию, организовывался, подымая голову, пролетариат слабых еще рабочих кварталов. Но, в общем, особых причин вглядываться в «базис» царской власти не было. Вопрос о нем стал только после пятого года. В испытаниях революции выявилась вся политическая немощность «первенствующего сословия». «Царствующие» не поверили, однако, собственным глазам. В эти дни зародилась идея (безумная, по существу, после того, как на усмирение крестьянства, громившего помещичьи усадьбы, пришлось выбросить в поле, по отчету военного министерства за 1906 г., 3143 роты, 1058 эскадронов и сотен, 55 команд, 71 пулемет и, сверх того, до 30 000 солдат) — оживить угасшую земщину объединением с крестьянством и на этой противоестественной смеси окулачившихся помещиков и опомещенных кулаков создать опору оседавшим «ступеням трона».

На этом взросла в свое время столыпинская реформа. Убитый выстрелом провокатора, купившего револьвер на «цену крови», выплаченную ему охранным отделением за

преданных им революционеров, а патроны к револьверу — на деньги революционной организации — кошмарное сочетание, столь характерное для тех переходных, в самих себе запутавшихся, времен, — Столыпин был реальным и трезвым политиком. Он не задавался поэтому несбыточными планами гальванизирования остывшего трупа дворянства; — остывшего, несмотря на крикливые заверения, которыми надрывались дворянские съезды, организации и кружки. Он перенес центр тяжести своей политики на деревню, выдвинув основной задачей своей создание «крепкого» кулаческого крестьянства, способного заменить прогнивший дворянский устой.

Здесь не место вызывать в памяти перипетии тогдашней общественной борьбы, хотя она составляет одну из интереснейших страниц истории заката царизма: столыпинская эпоха была высоким и последним подъемом «старого режима». Подъемом, не в смысле расцвета сил, — ибо их уже не было, — но в смысле напряженности, стремившейся до дна исчерпать всю его сущность и действительно исчерпавшей его так, что на завтра не осталось ничего: спуск, закат, крушение. Старый режим при Столыпине пережил приблизительно то же, что языческий мир под первым ударом еще неорганизованного, еще слабого «физически», только-что народившегося христианства. Как тогда вожди язычества, так и теперь вожди «старого» — в вихре тех двух — 1905—1906 — «безумных» лет почувствовали нарождение — к самой твердыне их подступившего нового мира; они

сознали, как тогда, так и теперь, что перед ними беспощадно брошена жизнью дилемма: или сойти на-нет, лечь прахом на развалинах, или свести свое «старое» в это внезапно вырвавшееся из подземелья, бурным потоком вырытое русло, — и суметь в основу «новой жизни» уложить это старое. Для Столыпина идея «стаого мира» не была изжита. Он верил в его жизненность, в возможность овладения новой жизнью, в возможность влить «вино старое в мехи новые»; и потому, навстречу подымавшейся общественной волне, он заложил плотину своих, казалось, точно расчисленных и зрело взвешенных «реформ».

Но ставка его, в конечном счете, оказалась битой. Его смерть стала роковой датой для самодержавия, ибо Столыпин был последним человеком старого мира, который верил в дело, которое вел. Коковцов, принявший после него власть и его «законодательное наследство», сделал робкую попытку переменить фронт и опереться на «торгово - промышленников». Промышленники, чувствуя свою день ото дня зреющую силу, уклонились, однако, от поддержки. Но если не «объединенный капитал», — кто же еще после аграрной неудачи мог послужить опорой спроектированны Столыпиным реформ, имевших обновить «старый режим» без повреждения?

Сразу обозначился тупик. Как только премьер-министр Коковцов убедился окончательно, что на всем пространстве вверенных ему губерний и областей нет не только класса, но даже сколько-нибудь общественно-сильной группы, на которую могла бы опереться

столыпинская—единоспасительная для самодержавия — реформа, ему не оставалось ничего другого, как снять ее с очереди. Он так и сделал. Он не только, по выражению «Нового Времени», «сдал в архив богатое законодательное наследство Столыпина», но и взял из Думы, переданные ей по наследству от прежних, столыпинские законы. С этого времени правительство фактически уже не имеет никакой государственной программы. От времени Коковцова — сменяющиеся кабинеты министров могут быть названы одним и тем же, характеризующим точный их смысл, названием: «Кабинет спасения останков»; иных заданий нет: удержаться. О сколько-нибудь целостной, сколько-нибудь планомерной политике — речи уже не может быть; то «личное», на охрану «царского бытия и быта» устремленное, что составляло существо «политики» Александра и Николая, все сильнее передавалось и кабинету министров, его политике. Еще играет в великодержавие министерство иностранных дел; еще спекулирует на силе растущей численности штыков — в заемной политике своей — министерство финансов. Но и на их деятельность все определеннее и резче накладывает печать доминирующая идея политики последних дней, идея спасения на самый край помоста сдвинувшейся династии. «Вера и надежда» династии и правительства все определеннее приводятся к лозунгу, с такой откровенностью формулированному, как мы видели, Александрой: «бог и армия».

И сообразно этому все ярче совершается, в соответствии с задачами «спасения остан-

ков», отбор правительствующих верхов; все определеннее и тверже подбираются они по признаку «надежности»: государственные способности, годность к управлению, административный талант, даже простая чиновничья опытность сбрасываются понемногу со счетов; все покрывается преданностью единственной остающейся задаче: поддержке существующего путем маневрирования среди подымающихся новых общественных сил и разложения их провокацией, подкупом, репрессиями. Армия, как последнее прибежище, — в центре царственного внимания; до высшего напряжения доводится казарменный режим, до предельной «благости» — заигрывание с офицерским составом. Его величество каждодневно, как видно из «Правительственного Вестника», пьет здоровье то одного, то другого полка по случаю тех или иных полковых событий. Офицерству предоставляются всяческие льготы; в гвардию, на освежение ее, вводятся, за царский счет, переводом из армейских полков, неимущие и неродовитые офицеры, в целях создания группы, личной зависимостью связанной с императором: создания «гвардии в гвардии». За «родовичей» царская фамилия платит долги, чтобы обезопасить себя от их фронды. Весь наличный состав великих князей, княгинь и княжен распределяется «шефами» по полкам, вплоть до самых захолустных, дабы утвердить опять-таки „личные связи“. Для восстановления «былого духа» меняется форма: восстанавливаются старые расцвеченные мундиры, вместо однообразной и скучной формы, введенной Алексан-

дром III, не любившим армии. Опять стучат саблями, как в николаевские времена, по панелям — гусары и уланы, расшитые шнурами по всем швам. Пышным цветом расцветает «помпонная идеология» — до карикатуры доведенная идеология мундира, — противопоставления офицерства с его особливой „честью“ и особливым бытом всей остальной массе населения.

К этому двойному заданию — политическому маневрированию без уступок и закреплению армии за династией — сводится в последние годы весь «государственный путь России» — в понимании ее «государственных кормчих».

Апогея своего этот курс достигает в эпоху «Распутинства».

Григорий Распутин был, как мы отмечали уже, не первым при дворе шарлатаном, вводившим «царственную чету» в общение с незримыми силами, помощь которых была им так необходима. До него сквозь дворец прошел целый ряд оккультистов и юродивых; да и в его царствование пытались соревновать ему: Митя Коляба, Мардарий и еще иные. Но прежние шарлатаны имели временный, преходящий успех; Распутин—длительный и в такой мере твердый, что конец его царствованию был положен только убийством его придворною кучкой, подуськанной монархистом и черносотенцем Пуришкевичем и надеявшейся спасти этим путем династию от окончательного поругания, к которому вело ее, до цинизма откровенное, поклонение старцу, кричавшему об этом во всех ресторанных уборных. Влияние Распутина определилось

прежде всего тем, что «его время» совпало со временем наибольшего напряжения психической болезни Александры Федоровны, наибольшего цепляния ее за помощь небесных сил; в первое появление свое при дворе— в 1911 году — он не смог еще закрепиться: очевидно, психопатологические предпосылки к тому еще не вполне созрели.

В Распутине несомненно была некоторая гипнотическая сила; его «успокаивающее» влияние на придворных истеричек и кликуш не приходится отрицать, хотя, по существу, трудно было бы установить твердо, в чем корень успеха распутинских радений: в собственной гипнотизирующей и подчиняющей силе «старца» или в желании его «жертв» быть загипнотизированными и «подчиненными». Если верить утверждениям дворцовых врачей, он, действительно, умел останавливать кровотечение у гемофилитика-наследника и действительно привел окликом в чувство Вырубову, которую после ее повреждения во время железнодорожной катастрофы не могли никак привести в сознание врачи. Но, в сущности, только этими фактами и ограничилась «целебная слава» Распутина; попытки расширить практику целетильства были неудачны: так, например, лечившийся у него будущий его убийца князь Сумароков-Эльстон, облегчения не получил. И по части знахарства он далеко уступал другой темной личности, так же пригретой двором, которому личность эта поставляла для таинственных некиих целей какие-то травы и настойки: «тибетскому врачу» Бадмаеву, пристанодержателю всяких аферистов и ищущих движения

чиновников, обделывавших под маскою его врачевания — в его «санатории» под Питером — дела такого же порядка, но не того же масштаба, которые проводил Распутин. Между Бадмаевым и Распутиным существовала, впрочем, и непосредственная связь, особенно в первоначальный период возвышения Распутина, — до того, как он сделался «некоронованным царем царей» и перестал, в связи с этим нуждаться в чьей бы то ни было поддержке.

Но сила распутинского влияния на Николая и Александру была не в гипнотической его силе, а в том, что путем тех же незатейливых, в конце концов, приемов, которыми утверждали в незапамятные времена авторитет свой «оракулы», — путем обстоятельной и ясной «внутренней информации», которую получал он из первоисточников и весьма темных формулировок своих предсказаний, отдававших обычно прямой абракадаброй — он сумел заставить императрицу уверовать в свое «ясновидение». Ясновидящим мог быть только угодный богу человек: Распутин был для Александры — прямою связью с богом. Тем самым он стал такой же связью и для Николая. Благоволением к царской семье, тем, что он был ей «другом», как титуловали его в переписке своей Николай и Александра — он как бы обеспечивал за ними важнейшую для них часть двучленной их опоры: «бог и армия». Поэтому так непримиримо резко реагировала императорская чета на всякие попытки чем-нибудь затронуть Распутина и тем самым — повредить или ослабить шедшую через него «небесную

связь». Отношение к Распутину являлось определяющим для «царей»: как говорит в одном из писем своих Александра Федоровна: раз кто-либо «враг божьего человека (т.-е. Распутина), то его дела не могут быть успешны и мнения правильны».

Было и еще одно. Распутин был несомненно человеком сильной воли, и это, естественно, должно было в огромной мере облегчить ему влияние в растерянной и раздерганной среде «большого двора», не знавшей, чего хотеть, и еще менее знавшей, «как хотеть». Все это вместе подготовило триумф Распутина, возведя его в сан — «царя царей».

Триумфом этим он пользовался умело: «для себя» он избегал что-либо требовать. Когда ему понадобилось освободить от призыва на войну своего единственного сына, ратника ополчения второго разряда, он предпочел, вместо хлопот личного порядка, выдвинуть «божье предупреждение» о недопустимости призыва второго разряда вообще: «Спасешь царствование, если не призовешь второго разряда». Такую же окольную осторожность проявлял он и в смысле каких-либо получек от Александры и Николая. Он стремился с е б я поставить по отношению к ним в положение дающего. Явное проявление корыстолюбия и сластолюбия были бы несовместимы с тем обликом «святого, богу угодного», который ему необходимо было сохранять в «сферах». Заезжие с Запада оккультисты, подходившие к Николаю и Александре с чернокнижной стороны, могли откровенно предъявлять счета на червонцы в возмещение своих услуг; «старцу» — таковое не прили-

чествовало: «взимание» переносилось за кулисы; вместо прямой «эксплуатации царей» он эксплуатировал свое влияние на них, взимая «что должно» за проведение назначений или иных «дел» на путях «высочайших повелений». Так, скандальное дело «смоленских дантистов» было «замято» им за тридцать тысяч рублей; назначение Хвостова министром таксировано было определенной ежемесячной пенисией и т. д.

Отсутствие у царствующих сколько-нибудь ясной политической программы, замкнутая в порочный круг «охраны» мысль Александры и Николая и совершавшийся, как мы отметили уже, именно под этим углом подбор государственных «людей»—в огромной мере облегчали, конечно, распутинские пути. Особенно в области назначений, т.-е. наиболее «жатвенной» для старца области. В область политическую он вмешивался редко; из переписки Романовых можно установить только, что он «давал советы» в области продовольственной политики и почему-то интересовался одно время операциями русской армии на Рижском фронте, при чем Александра настойчивыми вопросами своими царю явственно служила ему информатором. В этом пункте деятельность старца определенно вызывала мысль (а у иных — и утверждение) о шпионаже. Мысль, сама по себе ничего невероятного не представляющая: германский генеральный штаб не был бы генеральным штабом, если бы не имел соответственной агентуры в России; но агентура эта не была бы на высоте своей задачи, если бы не попыталась использовать такой,

казалось бы, доступный ход к самой Ставке, как Распутин. Прямых указаний на распутинскую измену установить, однако, не удалось; возможно, что и в данном случае мы имеем какое-либо «предсказательное» шарлатанство.

Двумя приведенными пунктами и исчерпывается распутинское прямое вмешательство в политику; он специализировался на назначениях: в этой сфере он был совершенно всесилен, именно потому, что его ручательство за того или иного звучало, как «свидетельство о благонадежности», выданное представителем «небесной охраны»; это было значимее всяких других удостоверений. Протоколы следственной комиссии, организованной Временным правительством, устанавливают в данной области совершенно исключительную по циничности «куплю-продажу мест» за деньги, протекцию и т. п. «Министерская чехарда» последних предреволюционных лет в решающей степени определялась именно решениями «царя царей»: его тщанием подобрано было то поразительное «окружение» трона, которое застала революция в последние дни царизма.

Трудно представить себе что-нибудь более жалкое, чем это сборище «государственных людей», лишенных какого-либо проблеска государственной мысли или даже административных знаний. Единственная, по существу, яркая фигура среди них — Протопопов, последняя закатная «звезда» последнего романовского кабинета — дворянин, помещик, богатейший суконщик-фабрикант, министр, красующийся перед Думой в жандармском мундире—и издающий «независимую» газету

с Леонидом Андреевым, Таном и иными либеральными писателями. Но и эта, резко выделяющаяся на фоне серого убожества остальных сотоварищей по кабинету, фигура выделяется, по существу говоря, только своим полусумасшествием — типичным, в тон и масть романовской семье, вырожденчеством. Ибо как иначе квалифицировать «министра», хотя бы даже и царской России, который по гороскопу устанавливает «благоприятный для себя» день открытия Государственной Думы и рекомендует разгон ее не по каким-либо реально-политическим соображениям, а потому лишь, что японский микадо целых одиннадцать раз разгонял японский парламент и ничего дурного от этого ему не приключилось; какое иное, кроме последней степени дегенерации, объяснение можно подыскать попытке Протопопова выслать в разгар войны паспорт на въезд в Россию заведомому шпиону — потому только, что шпион этот промышляет хиромантией и, в качестве гадальщика, предсказал в свое время Протопопову—за двести рублей наличными — «великое будущее». Если бы это была измена! К несчастью для министра — это только психическая ненормальность.

Остальные — даже не сумасшедшие: попросту обыкновеннейшие карьеристы и казнокрады или чиновные старички, засунутые на вакантные посты «для прикрытия» — чтобы не мешали. Таков Штюрмер, поставленный Распутиным потому, что он «старикашка, который должен ходить на веревочке»; Хвостов — карьерист и казнокрад, купивший себе

через Распутина министерский портфель и целовавший за это на людях распутинскую руку; Щегловитов — «Ванька-Каин; у него и морда такая» (Распутин); Курлов — кутила и казнокрад; Добровольский — спирит, столоверчением определявший свои служебные действия, и т. д. и т. д. . . . бесконечный ряд разного наименования и звания «Бурдуковых» — «чезвычайно жадных на все должности, которые дают как можно больше денег». Даже Александра Федоровна чувствует это; в одном из писем своих она дает коллективную оценку всему «министерскому окружению»: «дураки, идиоты»; в другом сообщает Николаю, что ей хотелось «поколотить всех министров». Не питал особых иллюзий относительно «государственных свойств» своего окружения и сам Николай; при тех исключительно охранительных заданиях, которые ставил он своему кабинету, государственные таланты и не были ему нужны. И когда князь Голицын при назначении председателем Совета министров, по собственному признанию своему, «наговорил про себя такого, что если бы это повторил кто-нибудь другой, я бы вызвал его на дуэль». — Николай в ответ на эту исповедь заявил с совершенным хладнокровием: «мне такого и надо».

Голицын не скрывал своей «совершенной неподготовленности к политической деятельности» и «совершенного отсутствия всякой политческой программы»; он был по меньшей мере честен. О других — нельзя было сказать даже и этого. Весь этот люд, распутинским изволением взнесенный на посты, «менялся местами», переходя из ми-

нистерства в министерство, из департамента в департамент так же, как передвигались городовые в пределах своего околотка — с более спокойного поста на менее спокойный, с более доходного на менее доходный, — вне каких-либо иных соображений, кроме личного изволения «господина пристава». К этому личному — сводилось все. Почему Гурлянд пошел в гору при Штюрмере? Люди «окружения» услужливо разъясняют следственной комиссии... после переворота: «Штюрмер в близких отношениях с женой Гурлянда, и это, так сказать, их сблизило». Почему такой-то смещен? За кривой поклон, за поданный, по неведению, влиятельному «с черного распутинского крыльца» человечку палец вместо всей ладони. Перекрест сложных и грязных интриг, нити которых в конечном итоге за спиной Распутина держали разные проходимцы, вроде Манасевича-Мануйлова или князя Андронникова, рекомендовавшегося со скромным достоинством все той же следственной комиссии: «благодатью божией я есть то, что есть: человек в настоящем смысле этого слова, но интересующийся всеми вопросами государственной жизни». Интересующийся, конечно, под одним только углом: сколько и где можно «урвать». По сравнению со всей этой компанией — почти-что великанами кажутся фигуры прежних министров Николая — Столыпина, Плеве, Витте... даже Сипягина, даже Победоносцева. Плеве как-то назвал современный ему Государственный Совет «стадом валухов» (кастрированных быков). Такое определение по отношению к министрам по-

следних лет Николая прозвучало бы комплиментом.

Убийство Распутина (17 декабря 1916 года) прекратило это—небесным патентом патентованное—комплектование правящих сфер. Гнев «Царского Села» и в особенности той решающей части его, которая в просторечии высшей бюрократии звалась малопочтительно «дамской половиной» — был воистину беспределен. «Цари» фактически не скрывали своего убеждения, что со смертью «друга» они безвозвратно утратили последний способ правильного отбора советников. Вместе с тем участие в заговоре против Распутина не только аристократии, но и особ «императорской фамилии», ясно свидетельствовало, насколько далеко ушло то одиночество Николая-Александры, которое белогвардейский описатель конца династии, генерал барон Дидерихс, меланхолически называет, в двухтомной бредовой книге своей, — «идейным». На Распутине — на расправе за его смерть — порвались последние связи, существовавшие между Александрой-Николаем и остальной «императорской фамилией» с их придворными; но тем самым общаться в дальнейшем становилось не с кем: дворец замыкался в склеп. Николай инстинктом самосохранения все теснее стал отжиматься к Ставке, к фронту, к штыкам, которые помутненному уму виделись — последней и единственной опорой. С того момента, как с Распутиным отошла вторая и главнейшая опора — бог, он все яростнее паломничал по фронту, «являя» себя войскам; императрица — настойчивее «творила легенду» в тыловых лазаретах, ра-

ботая сестрой милосердия вместе с княжнами, раздавала офицерам, отъезжавшим на фронт, «освященные» Распутиным пояски и слала иконы — в подкрепление николаевским «явлениям». Вместе с тем, активнее, чем когда-либо, действовала она и в сфере управления, точно стремясь использовать почивший на ней от частого общения распутинский дух. Она стала на время — центром. Центром — чего? На это было бы трудно ответить. Ибо хотя стучала еще привычным стуком инерции бюрократическая машина, но она стучала на месте. Кругом изолированного дворца смыкался второй, в свою очередь совершенно изолированный, чуть-чуть только опиравшийся даже на подчиненные ему канцелярии — бюрократический круг. При этих условиях достаточно, казалось, было одного толчка, чтобы весь этот — ни на чем не стоявший «высочайший павильон» — рухнул с треском.

Глава III.

«ИМЕЮЩИЕ ПРИНЯТЬ ВЛАСТЬ».

Крушение становилось, таким образом, неизбежным.

Первым и ближайшим претендентом на наследование власти после крушения уверенно считала себя буржуазия: в обстановке царской России у нее не было, казалось, сколько-нибудь серьезных соперников.

Рабочий класс был относительно немногочислен еще (всего до 1 500 000 в 1915 году) и очень слабо организован. Жестокая реак-

ция Николаевского царствования, в годы войны достигшая предельного напряжения, заставила пролетариат пройти суровую классовую школу, выработала в нем высокую боеспособность и выдержку, но не дала ему сложить массовых организаций; его профсоюзы, работавшие в подпольи, — неизменно разгонялись, его политические организации загнаны были в глубокое подполье. Кое-как перебивалась потребительская рабочая кооперация, куда и переместилась, как на единственный путь «легального» общения с рабочими массами, работа значительной части уцелевших от арестов и высылок партийцев. Самый состав пролетариата, — сильно разводненный огромным приливом на фабрики и заводы военнообязанных крестьян и широким применением женского труда — мало благоприятствовал организационной работе. Дезорганизованность усиливалась ожесточенной борьбой, шедшей в рабочей среде с самого начала войны между оборонцами-шовинистами и интернационалистами. Партийные органы меньшевиков и социалистов-революционеров официально объявили себя оборонцами; центром интернационалистской и антивоенной пропаганды был в Питере большевистский партийный комитет. Оборонцы были в решительном большинстве; поскольку так, буржуазии не было оснований беспокоиться, так как «оборончество» шло рука об руку с социал-соглашательством: игравшие руководящую роль в рабочем движении довоенных и первых военных лет меньшевики почтительно уступали буржуазии дорогу не только в вопросе войны, но и в во-

просе власти; как и сама буржуазия, они считали именно ее законной наследницей царизма. Правда, нараставшее в рабочих массах недовольство не могло укрыться от глаз буржуазии: стачечное движение 1915—1916 годов подняло почти полтора миллиона рабочих в 1 880 выступлениях; но буржуазия принимала движение это за чисто экономическое. Причин к такому движению было достаточно: нажим предпринимателей, спешивших выгонять «военные барыши» на зарплату и рабочее время был цинично-жесток. Политики буржуазии полагали, поэтому, что будет достаточно в нужный момент смягчить или временно вовсе снять этот нажим, чтобы «замирить» волновавшийся пролетариат и по меньшей мере «нейтрализовать» его на период своего «восшествия к власти». С этой стороны буржуазия не ждала грозы.

Еще меньше опасности виделось со стороны крестьянства: его распыленность доходила до того, что жители одного села зачастую за всю жизнь не удосуживались дойти до околицы соседнего. Поскольку дело не касалось податей, политические вопросы не интересовали деревню; да они и не доходили до нее. По самодовольному заявлению премьер-министра Коковцова иностранным газетчикам во время заграничной поездки его в 1912 году, «политика в России кончалась в 100 километрах от столицы и в 30 километрах от губернских городов: глубже она не шла». Но отсутствие политических запросов предрешало и политическую пассивность, ставившую многомиллионную крестьянскую массу вне борьбы за власть.

Что касается дворянства, все еще по старой традиции числившегося «первенствующим сословием», то, как мы уже отмечали, оно было сброшено неотвратимой экономической эволюцией на историческое кладбище, оставив в текущей жизни на память о себе, в виде монумента, пышный, но абсолютно бессильный «Союз объединенного дворянства».

Серьезного классового противника на путях буржуазии, таким образом, не виделось. И если она не наносила царизму последнего удара и не брала власть, то потому лишь, что, по состоянию своему, и она не могла этого сделать: у нее не было для этого достаточных сил.

Николаевская реакция била по земцам и горожанам, по радикалам и либералам, с неменьшей, пожалуй, злобностью, чем по рабочему движению — несмотря на всю умеренность конституционных лозунгов буржуазии; била настолько жестоко, что даже умереннейший князь Евгений Трубецкой начинал возглашать в еще более умеренных «Русских Ведомостях», что «Отечество гибнет от умеренности», а лидер кадетской партии, Милюков, при всей своей приверженности к монархии, впадал по временам в остервенение и начинал заговариваться на тему о вооруженном восстании.

Политически — буржуазия кое-как сорганизовалась, под сенью конституции 1905 года, давшей возможность легализовать буржуазные партии; но самая множественность этих партий, отличавшихся друг от друга больше цветом усов своих лидеров, чем существом

своих программ, искусственность этих многочисленных партийных группировок свидетельствовала о том, что буржуазия не закончила еще даже первого этапа собственного классового своего оформления, что она не организовала, как должно, даже собственных своих сил. Но одними этими силами — даже если бы они были организованы достаточно — буржуазия ничего еще не смогла бы сделать: ибо буржуазия политическую власть свою ставит не на собственной, а на заемной силе остальных классов. Она строит свою власть на «общенациональном базисе».

Создать себе такой базис буржуазия тщетно старалась на путях думской работы. Но работа эта — от романтической «Думы Народного Гнева» до прозаичнейшей «Казенной Палаты» 4-го созыва — дала в этом направлении лишь весьма ничтожный результат. Как ни парадоксально прозвучит это — Государственная дума оказалась, пожалуй, полезнее левым партиям, использовавшим думскую трибуну исключительно для агитации, звучавшей с трибуны этой более широко и громко, чем голоса подполья; буржуазия же, пытавшаяся использовать Думу для «конституционной политики», своими выступлениями под лозунгом «бережения Думы», своими голосованиями — достигла обратного результата: она компрометировала в глазах страны и себя и Думу.

Особенно много, в этом отношении, сделала 3-я Дума. Она «работала» в неспокойные годы; еще не стихла в стране внутренняя борьба: были стачки, были казни и взрывы, и провокация, и университетские беспорядки,

и расстрелы. Но все это прошло, не затронув тихих занятий Думы. В случаях особой остроты момента оппозиционная буржуазия взбрасывалась на трибуну, «запрашивала» правительство, соответствующий министр давал соответствующее разъяснение, оно признавалось правильным, и приостановленное на мгновение колесо штампования «законов» начинало вертеться с прежним спокойствием и прежней монотонностью.

Итоги этого пятилетнего штампования оказались поистине ужасными. В самом деле: в области «гражданской свободы» Дума проявила себя тем, что по собственной инициативе ассигновала миллион рублей «жертвам, пострадавшим от революции»; приняла несколько сот законопроектов об усилении полиции и закон об организации сыскных отделений стоимостью в один миллион рублей в год; она благодушно проваливала запросы по делам провокационным и в особенности запросы социал-демократической фракции по неправильным действиям администрации в ее беспощадной борьбе против профессиональных организаций. Она похоронила законопроект об отмене смертной казни и воздержалась даже от принципиального ее осуждения: именно при ней, при ее попустительстве, смертная казнь обратилась в «бытовое явление». С заботливостью относясь к тюрьмам, увеличив пенсии тюремной страже, уплатив долги тюремного ведомства, одобрив учреждение тюремной инспекции, она отмахивалась от всякого приглашения всмотреться, хотя бы мимоходом, в то, что делалось в тюрьмах, даже тогда, когда жизнь бросала

в лицо «народным представителям» такие факты, как истязания в Вологде и Зерентуе, как расстрелы и массовые самоубийства заключенных... В области национальной она дала выделение Холмщины и знаменитые — в истории, даже царского, ко всему притерпевшегося, законодательства—законы о Финляндии и вынесла «кровавый навет» на евреев из чайных Союза Русского Народа на парламентскую трибуну. В области народного образования она узаконила разгром университетов. В области «устроения крестьянства» приложила не только печать, но и руку к «Столыпинщине», усугубив, в меру своих слабых сил и разумения, разлагающую силу закона 9 ноября. В области экономических вопросов 3-я Дума, даже по отзыву буржуазного «Совета Съездов Промышленности и Торговли», проявила «дилетантство» и «доктринерство», не уйдя дальше «банальных рассуждений», «общих мест» и «демагогических» приемов. И так — во всех вопросах и областях.

На такой работе не создать организующей силы. «Парламент» — форпост буржуазии, хотя и косо, «бочком», но все же вдвинутый в государственную систему России, не имел накануне войны ни малейшего авторитета — ни «вверху» ни «внизу». Избиратели ясно подчеркнули свое отношение к нему массовым абсентеизмом на выборах в четвертую Думу. Что же касается правительственных верхов, то, уже в разгар войны, Александра Федоровна так формулировала высочайшее отношение к думцам: «Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пы-

таются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться».

Эта организационная слабость — и в классовом и в общенациональном масштабе — тем более вязала буржуазию, что между нею и «высочайшим павильоном», который надлежало «толкнуть», чтобы взять власть, — стояла огромная, страшная — традиционной инерцией казарменного уклада, слепой дисциплиной взрощенная—ограда штыков. «Бог и армия». Бога буржуазия не боялась, но армия, действительно, стояла на дороге.

Принять бой с этой армией буржуазии было нечем: единственную способную разбить штыковую ограду силу — стихийную силу народных масс — она не могла использовать уже по той простой причине, что массы эти стояли к ней спиной; да если бы она и могла поднять их на удар, она никогда не сделала бы этого. Во-первых, потому, что со времени 1905 года буржуазия воистину панически боялась масс; она чувствовала себя перед ними, как Фауст перед духом земли, — духом, который он может, пожалуй, каким-нибудь сверхъестественным способом вызвать, но управлять действиями которого он не сможет никакими способами. Всякий подъем масс неминуемо должен был в конечном итоге ударить по буржуазии; политические руководители ее прекрасно сознавали это, и мечтания их—по отношению к рабочему классу и крестьянству — шли не дальше нейтрализации их.

Во-вторых, революционный удар грозил разрушить армию; более того, такое разрушение представлялось неминуемым. В атмо-

сфере революции штыки начинают мыслить; тем самым полагается конец традиционному армейскому укладу, обеспечивавшему «владетелям армии» слепое, нерассуждающее повиновение штыков. Нарушать этот уклад отнюдь не входило в интересы буржуазии; напротив, буржуазии нужна была армия именно в тех формах, которые создал для самообороны своей царизм; из всего наследства «царизма» эту часть она хотела принять в наибольшей сохранности; ведь основной враг, от которого охраняла штыковая ограда царей,— массы — оставался тем же врагом и для буржуазии. Вот почему даже оппозиционнейшие политики буржуазии соперничали с монархистами в охранении традиционного армейского уклада, традиционной армейской инерции; и никто, кажется, не выступал с такою яростной нетерпимостью против революционной пропаганды в армии, как именно либералы и... радикалы.

Этот лозунг «необходимости сохранения армии в ее традиционных формах», естественно, выводил для буржуазии армию из-под удара; чтобы лишить самодержавие этой страшной и единственной, оставшейся еще за царизмом, силы, — надо было изыскать способ отстранить ее с дороги каким-то «мирным путем», надо было попытаться овладеть ею. Поскольку «пропаганда» каких бы то ни было политических идей в солдатских массах — хотя бы даже только «конституционных» — исключалась (ибо это грозило «заставить штыки мыслить»), захват армии буржуазией мог пойти только по линии овладения офицерством. При «ста-

рой армии» этого было достаточно: офицерская команда — остальное доделывает дисциплина.

Такая задача казалась уже менее безнадежной. В связи с вырождением и обнищанием дворянства, некогда целиком комплектовавшего офицерский корпус, офицерство русской армии начала XX века было по преимуществу мелкобуржуазным. Тем самым, казалось бы, имелась на-лицо готовая «классовая связь». На деле, однако, вопрос был сложнее. Офицерский мундир вводил в касту, выделенную все еще крепкой традицией, — в особый мир, противопоставленный «гражданскому», «шпачьему» миру,—и связанную прямою кастовой связью с «первым офицером» армии — царем: присяга офицера носила личный характер присяги «на верность монарху». Черты кастовые и черты личной — «единством погон» — связи с династией за последние, предвоенные годы особенно усилились: отмеченная выше система задабривания офицерства «высочайшими» подачками давала известные плоды. И, поскольку всякая «традиция» особо сильно действует на «новичков» и особо яростными блюстителями правил касты являются недавно приобщенные к ней — в царской армии наиболее надежными, с точки зрения царистской, элементами являлись не дворяне, взросшие в военной касте и зачастую фрондировавшие — но именно недавние выходцы из буржуазии. Это значительно тормозило ту политческую работу, которую, в противовес царской политике, попыталась организовать в офицерских рядах буржуазия.

Борьба за офицерство составляет одну из наиболее забавных (ненаписанных, к сожалению) страниц истории российских конституционалистов в предвоенные годы. В армии усердно, но мало успешно насаждались кружки; офицеры втягивались в «политическое общение» с думцами и земцами; «политические дамы» устраивали специально-военные салоны, где усвоение буржуазной политграмоты предупредительно облегчалось поручикам — флиртом и ужинами. Это доставляло много удовольствия, но давало мало итогов. Свойства военной присяги, опасность строжайших кар за малейшее проявление политики приводило к тому, что «политиками» в офицерской среде могли стать только революционеры. Но их, естественно, не видели в своих салонах либеральные дамы.

Сколько-нибудь широкой организации среди офицерства буржуазии создать поэтому не удалось. Определенный — хотя, естественно, ограниченный успех—имела лишь идея дворцового переворота, к которой, видя безуспешность попыток широкой организации, пришла известная часть «конституционных» лидеров; в гвардии, частью в генеральном штабе, нашлась небольшая группа офицеров (насколько нам известно — в Петербурге было два таких кружка), имевших личные счеты с тем или иным из «высочайших», или попросту рассчитывавших на блестящую карьеру в случае успеха переворота.

Нити этого назревавшего заговора перекрещивались с нитями аналогичного заговора... монархистов; то, что буржуазия считала нужным сделать для низвержения ца-

ризма, монархисты считали нужным сделать для спасения его: Николай был обречен и с той стороны и с этой. Буржуазия знала о параллельной подготовке удара (в некоторых гвардейских полках заговорщики обеих групп даже держали контакт), но это ни мало не смущало ее — не все ли равно, чьими руками покончено будет с императором — поскольку серьезных соперников на власть у нее не имелось, и монархисты, ничтожная, в конце концов, кучка, таким соперником явиться не могли.

Дворцовый переворот давал возможность устранить существующую власть, так сказать, «из-за ограды штыков», не трогая ее; это был не только единственно, в данных условиях, возможный, но и наилучший для буржуазии выход.

Объявление войны в 1914 году резко изменило картину. Дворцовый переворот был снят с очереди. И монархисты и буржуазные лидеры дали, каждый по своей линии, отбой: и тем и другим момент казался неподходящим. Патриоты-монархисты и помыслить не могли нарушить чем-либо темп стратегического развертывания и «подъем национальных чувств». Они веровали, вместе с тем, что целебная сила мировой войны уврачует не только нацию от конституционных и революционных язв, но и династию от язв распутинства. Патриоты-буржуа в надвинувшихся событиях справедливо провидели для себя широкие и победные перспективы: война требовала исключительного напряжения государственных сил, на которое царское правительство с его бюрократическим аппаратом заве-

домо было неспособно. На этот раз оно не могло обойтись без буржуазии, без ее помощи; в противном случае, ему грозила бы катастрофа. И, поскольку правительству предстояло выбирать между катастрофой и «призванием буржуазии», со всеми вытекающими из этого политическими последствиями, т.-е. между проигрышем полным и проигрышем частичным — буржуазия имела все основания считать, что она играет без проигрыша.

И предвидения эти действительно стали оправдываться уже в первые месяцы войны. Под давлением быстро обозначившегося хозяйственного развала, с которым явно не могли справиться правительственные чиновники; под влиянием «кризиса снабжения», грозившего затормозить успешно было начавшее развиваться наступление армий, — правительство вынуждено было развязать руки буржуазии в области организационной. В итоге— мобилизация буржуазии шла параллельно мобилизации военной. Ее сила росла быстро, на глазах; ее связи перебросились, наконец, и в армию — в офицерство, «разводненное» колоссальным количеством призванных из запаса прапорщиков и иных, офицерского и военно-чиновничьего звания, людей, являвшихся «плотью от плоти» буржуазии и не порывавших с нею общения; на фронте в боевой обстановке кастовый уклад не столь давал себя чувствовать. «Изоляция верхов»— царя и правительства—усиливалась из месяца в месяц — в меру успехов буржуазии на внутреннем фронте и неуспехов правительства на фронте внешнем. Учердив «рабочие

группы» в военно-промышленных комитетах, буржуазия установила совершенно отсутствовавший до войны контакт с рабочей массой, по меньшей мере с той частью ее, которая принимала войну; установила в наиболее благоприятных для себя формах, так как «рабочие группы», которых бойкотировали интернационалисты-большевики, естественно, сосредоточили в себе весь цвет оборончества и социал-соглашательства. Тем самым открывались перспективы классового сотрудничества и на послевоенный период, на почве нынешнего, «военными обстоятельствами» созданного, сближения.

Буржуазия начинала чувствовать под собой «базис». Дума ожила и заговорила языком, отнюдь не приличествующим «Казенной Палате». Ее отношение к династии становилось все более и более вызывающим, так что императрица, по адресу которой шли, по преимуществу, антидинастические намеки думских ораторов — все чаще и истеричнее требовала от Николая разгона «зазнавшихся» депутатов. Лозунг «ответственного министерства», т.-е. перехода к «подлинной конституции», из робкого намека, которым с оглядкой оговаривалась буржуазная пресса, — разрастался в требование, готовое обратиться в ультиматум. Уже роились слухи, что ультиматум этот опередит инициатива правительства и ответственное министерство будет «даровано». Но Николай, вдохновляемый Александрой и Распутиным, внезапно и нелепо проявил ту самую волю, которой у него никогда не было: он категорически отказался от каких-либо дальнейших уступок и даже сде-

лал попытку туже подтянуть «бразды», к великой радости императрицы, заверявшей в каждом письме, что «единственное спасение — в твердости; если начать уступать — вытянут все». Проявленная Николаем энергия несколько ошеломила буржуазных лидеров; наиболее пылкие из бойцов за власть буржуазии, опасаясь, как бы осенившая императора энергия не завела его на путь еще более крутых решений — выдвинула проект немедленного его устранения. Никто другой, как Деникин, будущий белогвардейский вождь, в те дни состоявший в одном из «революционных кружков», организованных буржуазией, предложил захватить Николая в поезде, во время одной из поездок его, — заставить отречься, а при попытке проявления им «воли» и в этом случае — покончить с ним, как покончил Пален с императором Павлом: удавкой.

Но более трезвые, более опытные политики охладили этот пыл: они не видели причины форсировать события и осложнять авантюрою попрежнему верным казавшийся выигрыш. Время работало на них. Правда, настроение городских масс, обостренное надвинувшимся, в связи с продовольственным кризисом, голодом, нарастало явственно и грозно; правда, уже множились по фабрикам и заводам революционные прокламации интернационалистов, влияние которых усиливалось даже по признанию их собственных противников — меньшевиков. Но буржуазия твердо надеялась на свои связи — и по линии «рабочих групп» и по линии думской, где «от имени пролетариата и трудового на-

рода» гремели с трибуны — явный социал-демократ Чхеидзе и тайный социалист-революционер Керенский. Чхеидзе был, по натуре своей, достаточно скромен и тих, а по меньшевизму своему заранее «принципиально» готов на классовое сотрудничество; на содействие его, в смысле «единого фронта» в нужный момент, можно было положиться. Что же касается Керенского, то, несмотря на социалистические громы его истерических речей, несмотря на красный платочек, дразнивший думских охранников из карманчика его пиджачка, он был для буржуазных политиков «своим» и при том вполне уютным человеком. Более того, он уже заранее был привлечен к участию в общем плане буржуазной кампании. Как раскрыли впоследствии воспоминания теперешних зарубежных «бывших людей», взаимообличениями услаждающих себе и другим горечь эмигрантских голоданий, Керенский входил в «интимный» (пользуясь застенчивым выражением Станкевича) кружок людей, «имеющих принять власть»; «коалиционный» по составу кружок, где за дружеской, чтобы не сказать братской, трапезой «делились чувствами и умом» — Коновалов и Керенский, Терещенко и Некрасов, Львов и Ефремов и еще иные, имена которых числятся ныне в том же синодике «бывших». Керенский был в те дни, несомненно, наиболее популярным оратором Думы. При такой заручке буржуазные политики могли рассчитывать в определенной мере и на трудовые массы—в тот день, когда они сменят салфетки общего ужина на портфели общего министерского кабинета.

Буржуазия, по всем данным, чувствовала себя в праве бодро смотреть в будущее.

Чувство это укреплялось в лидерах буржуазии впечатлениями каждого дня. Правительственные чиновники все искательнее заговаривали с ними, словно провидя в них будущее начальство; министры из более сообразительных начинали явственно заигрывать с Думой. Даже Распутин, незадолго до своего конца, поддался той же ориентации, прислав конституционно-демократическому депутату Караулову письмо — хотя и «пифийского» содержания (ибо никто из непосвященных ничего не смог понять в бессмысленной связи безграмотных слов), но начинавшееся совершенно недвусмысленным обращением: «милой дорогой».

В условиях этих быстро и радостно шло «собирание сил», организация буржуазии; никто в рядах ее не сомневался, что к концу войны она станет необоримой настолько, что власть перейдет к ней, всего вероятнее, безо всяких потрясений, путем «самоограничения» или даже «самоотречения» правящих. Но в тот самый момент, когда в успехах своих она быстро шла уже к апогею, случилось событие, непредвиденное и нежданное, сразу опрокинувшее весь, так точно, — казалось, едва не по дням — расчисленный выход буржуазии к власти:

Питерский пролетариат—вышел на улицу.

Глава IV.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ.

Выхода этого не ждал в этот момент никто.

«Низовой процесс», процесс стихийного нарастания бурного протеста против войны, голода, надвинутого на столицу бездарностью органов власти, и, вместе с тем, против жестокой эксплуатации пролетариата военно-промышленниками, шел, конечно, уже давно. Но его «некому было видеть». Буржуазия, упоенная своим предвкушением власти, смотрела не в ту сторону; на рабочем фронте она, как мы отметили уже, не ждала в ближайшем осложнений; в частности весьма успокоительное впечатление произвел на ее вожаков срыв демонстрации, назначенной было оборонцами на 14 февраля—день открытия Государственной Думы. Правительство приняло в ожидании этого выступления чрезвычайные меры: мобилизованы были все войсковые и полицейские части; специальные пулеметные команды, сформированные по мысли министра внутренних дел Протопопова из городовых полицейского резерва, уже размещены были под крышами домов — в местах, где предполагалось наибольшее скопление рабочих; выработан был детальный план действия вооруженных сил, долженствовавший обеспечить правительству совершенный разгром выступления. Думские политики знали об этом: учитывая правильно, что казавшееся предрешенным поражение рабочих в той бойне, которую собиралось спровоцировать

правительство, отзовется и на буржуазной оппозиции, поскольку «власти», обеспечив себя на некоторое время с рабочей стороны, будут чувствовать свои руки развязанными и в обращении с вожаками буржуазии — они чрезвычайно энергично высказывались против демонстрации. По заводам циркулировало письмо за подписью Милюкова, в котором рабочие призывались «оставаться спокойными». Рабочие не выступили, — не потому, что они «остались спокойными», а потому, что интернационалисты повели энергичную агитацию против выступления— не из боязни столкновения, а по недопустимости каких-либо «демонстративных» выражений симпатий к Думе. Рабочие послушались их, но думцы отнесли отказ за счет своих увещаний. Это особливо успокоило их. Со своей стороны, охранка, сбитая с толку тем же «восхождением» буржуазии, разбрасывавшим ее наблюдение «по надполью» — в ущерб «подполью», заставлявшим следить, по линии наибольшей очередной для самодержавия опасности, зорче за будущими министрами, чем за сегодняшними «государственными преступниками», уделять больше внимания речи Родичева или Гучкова в Думе, чем гектографированной прокламации на Путиловском заводе, — упустила из-под «недреманого ока» разгоравшийся огонь. В конце февраля он вспыхнул сразу ярким пожаром.

Началось с демонстраций, требовавших хлеба; женщины рабочих кварталов, на окраинах, кое-где разгромили мелочные лавки. С 23-го февраля — в поддержку требований «хлеба», — лозунга движения в эти первые

дни, — стали останавливаться заводы. В первый же день стало свыше 50 предприятий, почти 90000 стачечников; на следующий день численность бастующих удвоилась. 25-го бастовало уже 250000. Над выступавшими толпами взвились красные флаги. Уже не о «хлебе» шла речь.

Под массовым напором выступавших на улицу — еще бесстройных, еще не имевших ни руководства, ни твердых лозунгов толп— полиция была сметена с улиц охваченных волнением районов. Выборгский район, где особенно сильны и активны были рабочие массы, уже 25-го оказался полностью в руках рабочих.

Двинуты были войсковые наряды; их силами и силами оттянутой к своим резервам массированной в отряды полиции — демонстрации рассеивались, чтобы снова собраться и снова двинуться в другом месте. Забастовка росла по часам, охватывая тесным и грозным кольцом город. На правительственных верхах царила полная растерянность перед этим сжимавшимся кольцом. Правда, гарнизон Петербурга был численно силен, но составлявшие ядро его запасные гвардейские части, заканчивавшие приготовления к выступлению на фронт, уже ожидавшие приказа к посадке, — были явно ненадежны. Старослуживых в их рядах было мало: они состояли, в главной массе, из людей, только теперь по мобилизации призванных, недавно оторванных от семьи и труда и не приглушенных еще, как старые кадровые части, «инерцией» казармы, в которой пробыли они слишком недолгий срок.

Итти на фронт, под пули, на убой никому не хотелось. И на клич «долой войну», уже перекрывший лозунг первых февральских демонстраций: «хлеба» — эти, готовившиеся к отправке на фронт солдаты могли отозваться, ибо лозунг этот был ближе всего им самим. Учитывая это, военное начальство, во главе которого стоял бездарный и нерешительный генерал Хабалов, волновалось больше всех прочих начальств; командующий войсками только разводил руками на заседании каждодневно собиравшегося Совета Министров. Градоначальник Балк, полицейским чутьем своим чуя беду, уже 26 февраля собирался стать во главе конных городовых — полицейской гвардии Петрограда — и пробиться в Царское Село сквозь поднявшиеся предместья. Министр внутренних дел, сменив на штатское платье жандармский мундир, которым так любил красоваться с трибуны Государственной Думы, рассыпал пулеметные полицейские гнезда по чердакам города «по плану 14 февраля» и грозился затопить движение в крови, но... перестал ночевать дома.

Думские верхи, не менее всех остальных, врасплох были захвачены забастовкой. Введенные в заблуждение первоначальным лозунгом демонстраций представители буржуазии сделали со своей стороны робкую попытку затушить движение — спешным, временным хотя бы, урегулированием хлебного вопроса. «Государственные думцы», соревнуя с «думцами городскими», захлопотали по продовольственным делам, настаивая на экстренной раздаче хлебных пайков из имевшихся

в столице запасов и т. д. 25-го в Городской думе состоялось специальное совещание общественных деятелей, постановившее изъять продовольственный вопрос из рук неспособного чиновничества и разрешить его силами общественными. Но — уже на следующий день — характер «уличных волнений», их необоримая стихийность не оставляли места сомнениям в том, что ни выдачей пайков ни мерами военно-полицейского воздействия удара на этот раз не отвести. Можно поручиться: если бы это было возможно, буржуазия предпочла бы этот путь; но поскольку он исключался, поскольку движение остановить было нельзя — буржуазии оставалось попытаться, так или иначе, использовать его для себя, — использовать, однако, со всей осторожностью, не компрометируясь. Солидаризироваться с движением, как сделал в дни октябрьской забастовки 1905 г. кадетский съезд, буржуазия на этот раз не собиралась. Напротив, она проявляла полную готовность всемерно пособить правительству в подавлении беспорядков, на условии удовлетворения тех домогательств своих о допуске к власти, которые она считала бесспорными. Председатель Государственной думы Родзянко вступил в обмен телеграммами со Ставкой и с ближайшим к столице командованием Северным фронтом, настаивая на срочном выполнении заданий, которые буржуазия считала очередными: установление ответственного министерства, смена кабинета передачей портфелей в руки ставленников организованной буржуазии, которым приписывалась, мнением думцев, магическая сила

популярности «в народных массах», — и усиление вооруженной охраны, которую «обновленная власть» могла бы бросить против мятежной столицы, если бы ее не удалось зачаровать одним звуком новых правительствующих имен. Одновременно с этим шел нажим и на Царское Село, на императрицу, в целях соответственно использовать ее влияние на Николая; сам Николай был на фронте, в Ставке; он уехал 22 февраля, накануне первого взмыва забастовочной волны.

Казалось, в сложившейся обстановке буржуазия играла наверняка: итти на разрыв с нею было бы для царизма безумием. Но Царское не пожелало капитулировать, еще раз положившись на крепость штыка, на «бога и армию». На тревожные телеграммы из Петербурга царь ответил разгоном Думы, подписав 25-го февраля указ о «перерыве с 26-го февраля занятий Государственной Думы и Государственного Совета, с возобновлением их не позже апреля 1917 г., в зависимости от чрезвычайных обстоятельств»,— и телеграфно предписал Петроградскому военному командованию — «завтра же восстановить спокойствие в столице». В ответ же на телеграмму Родзянки от 26-го февраля с ходатайством о срочном назначении нового правительства, «пользующегося доверием страны» («медлить нельзя, всякое промедление смерти подобно, молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца»), Николай отдал распоряжение об усилении петроградских войск специальным отрядом в 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей,

под общим командованием генерала Н. И. Иванова, надежность которого засвидетельствована была в свое время его — памятным революционерам — командованием в Кронштадте. Непосредственно с ним из Могилева, где находилась ставка, должны были отправиться: эшелон Георгиевского батальона, полурота железнодорожного полка и рота собственного его величества полка; остальные части, несмотря на общую напряженность стратегического положения, снимались с фронта: на 28-ое назначены были к посадке с Северного фронта 3 эшелона 67-го пехотного Тарутинского полка, 68-ой Бородинский и кавалерия; с Западного фронта— 2 кавалерийских и 2 пехотных полка, пулеметная команда. Все войска эти должны были стянуться к Царскому Селу 1-го марта утром; к этому времени предполагал прибыть в Царское сам венценосец, дабы на месте указать правительству надлежащие меры. Иванов был облечен диктаторскими полномочиями: ему поручалось восстановить спокойствие в столице всеми мерами, какие он сочтет необходимыми, вплоть до учреждения военно-полевых судов, при чем все министры обязывались беспрекословно повиноваться его указаниям.

В тот же день, 26-го, по прямому проводу говорил со Ставкой великий князь Михаил, настоятельно рекомендовавший поручить формирование нового — уже «конституционного кабинета» — взамен подавших в этот день «скопом» в отставку министров, — князю Львову. Но Николай даже не подошел к телефону, кратко ответив через начальника

штаба генерала Алексеева, что «его величество благодарит за внимание, выедет из ставки и сам примет решение».

Указ Николая о роспуске Думы дошел до думцев только 27-го февраля; быть-может, несколькими днями раньше Дума послушно разошлась бы, но в данный момент она уже не могла этого сделать из чувства простого самосохранения; события нарастали, в буквальном смысле слова, по часам, и к 27-му, когда буржуазии стало известно царское решение, для нее было абсолютно ясно, что движение приняло размеры, грозившие уже не только правительству, но и ее — далеко еще не окрепшей, не оформившейся — силе. Она сочла поэтому себя вынужденной не подчиниться указу о роспуске и действовать. Спешно вызван был в Петроград буржуазный кандидат в конституционные цари— великий князь Михаил Александрович. Он имел совещание с Родзянкой, Некрасовым (т. председателя Думы), Дмитрюковым (секретарем Думы) и Савиным (членом Думы); думцы настаивали на том, что пришло, так сказать, время «явить его лицо народу»: они предлагали Михаилу явочным порядком принять на себя диктатуру над городом, и по прямому проводу истребовать от государя манифест об учреждении ответственного министерства.

Но великий князь не решился: войска — худо ли, хорошо ли, — но держали еще улицы; некоторые части и переодетые в солдатские шинели городовые и стражники, переведенные, для большего рвения, на двойной оклад «по крепостному положению» —

постреливали, не без успеха, на Невском, на Знаменской, на Мойке, на Загородном; у рабочих явно не было оружия; с фронта шли эшелоны; с чердаков высматривали дула протопоповских пулеметов — «стратегическая» обстановка была неясна; пожалуй, даже, она казалась более благоприятной для правительства, чем для вышедшего на улицу с голыми руками пролетариата. Претендент не решился на открытую нелойяльность, он уклонился, до времени, от решительного ответа и перекочевал в Хабаловский штаб, откуда попытался вернуться к себе в Гатчину. Дума «на частном совещании» избрала «Временный Комитет» из представителей различных фракций Думы в составе: Родзянко, Милюкова, Дмитрюкова, Ржевского, Шидловского, Некрасова, Львова, Шульгина, Караулова, Коновалова, Керенского и Чхеидзе. Комитет этот — словом и делом — поспешил отгородиться от революции. В выпущенном им манифесте говорилось: «Временный Комитет членов Государственной Думы, при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка». В области практической первыми шагами его было: переговоры с правительством и снаряжение депутации к царю в целях побудить его к отречению, так как после разгона Думы и высылки войск с фронта против Петрограда — «сотрудничество» с ним представлялось попросту невозможным. В то же время предприняты были и некоторые (в высокой мере осто-

рожные, ибо даже на этой стадии событий буржуазия все еще не решалась открыто заявить себя на стороне восстания) шаги по установлению связи с восставшими массами. Именно для этой цели и введены были во Временный Комитет — социал-демократ Чхеидзе и трудовик Керенский.

Установление связи оказалось, вопреки всяческим ожиданиям, не столь трудным: люди, выдвинутые ходом событий во главу движения, относительно охотно пошли на сговор с Думой. К тому же — с утра 27-го февраля — рабочие на фронте движения фактически были заслонены солдатами. А с солдатской массой буржуазии легче было сговориться, чем с пролетариатом.

Эта смена ударных сил на революционном фронте произошла 27-го утром. Еще накануне войска стреляли по толпе, хотя признаки быстро идущего разложения наблюдались и в предшествующие дни: 26-го попыталась подняться 4-ая рота Павловского полка. Выступление это удалось однако ликвидировать подоспевшей полицией, командами Преображенского и Кексгольмского полков; рота была оцеплена, обезоружена, арестована и выдала 19 «зачинщиков», преданных суду... которому не суждено было состояться. Часть павловцев — десятка два — успела однако ускользнуть от ареста, сохранив оружие, и уже к вечеру того же дня эта кучка солдат, усиленная отдельными, из своих команд ушедшими солдатами, под командой фронтовика, георгиевского кавалера, поручика Петрова (прибывшего в Петербург с фронта в отпуск и примкнувшего к движению) — за-

крепилась в районе Летнего сада, перестреливаясь через Марсово поле, под прикрытием Лебяжьей канавки, — с учебной командой Павловского полка. Трудно установить знали ли остальные полки о выступлении павловцев; но на утро движение перебросилось и в другие казармы. Первыми поднялись, расквартированные в казармах Преображенского полка у Суворовского плаца, Волынцы, — та самая рота, которая накануне стреляла по рабочей демонстрации; тяжесть пролитой крови пробудила сознание; солдаты подняли на штыки офицера, пытавшегося остановить их, убили батальонного командира и с выстрелами и криками высыпали на улицу. Кто вывел эту, давшую сигнал к дальнейшему общему выступлению, роту — осталось, в сущности, неизвестным: опрос, произведенный в ближайшие дни Союзом Офицеров Республиканцев, дал шесть разных имен, «выведших Волынский полк»; решить твердо, какое из этих имен правильно, не представилось возможным. Официально «зачинателем выступления» считается Кирпичников, старший унтер-офицер, командовавший в последующем той частью Волынцев, которая сохранила строй и приведший ее в Государственную Думу.

Волынцы, выйдя, двинулись в ближайшие казармы и увлекли за собой войсковые части, расположенные в окрестности. Операция эта прошла быстро: казармы Преображенского полка находились в районе города, где сосредоточена была значительная часть войск петроградского гарнизона; здесь, на смежных улицах, находились казармы — лейб-гвардии

Саперного батальона, 18-го Саперного батальона, I-ой гвардейской артиллерийской бригады, конной артиллерии, Кавалергардского полка, Офицерской школы, 9-го Запасного Драгунского полка, собственного его величества конвоя и пр. В короткое время весь этот «военный городок», очерченный линией: Литейный — Бассейная — Суворовский и дальше до Невы—был вырван из рук петроградского командования; части или вышли на улицу или были приведены к нейтралитету. Тем самым вся эта часть города, в которой находилось и здание Государственной думы, оказалась в безраздельной власти восстания: оно обратилось естественно в его базу: Таврический дворец силою обстоятельств становился наилучшим помещением для штаб-квартиры восстания, ибо он, надежнее всякого иного пункта, был прикрыт от удара.

Именно это обстоятельство, а не «авторитет» Государственной думы, оттянуло к Таврическому восставшие толпы. Из тюрем, уже с утра раскрытых напором восставших, были освобождены политические заключенные; среди них — «рабочая группа» Центрального Военно-Промышленного комитета, представлявшая собою единственную для данного момента организованную «верхушку» широких пролетарских масс Петрограда. Из тюрьмы она переместилась в «Штаб-квартиру» в Таврический и немедленно приступила к мобилизации всех сил, которые можно было вести в дело, и к организации Совета Рабочих — и Солдатских, на этот раз, в отличие от 1905 г., — Депутатов. Совет должен был сконструироваться вечером, в 7 часов; к этому

времени предполагалось успеть провести выборы по заводам (один депутат на 1 000 рабочих; заводы, имеющие менее 1 000 рабочих, посылают одного депутата) и по восставшим полкам (один депутат на роту). Вместе с тем, Временный Исполнительный Комитет Совета принял меры к внесению планомерности в стихийно развертывавшееся до того времени восстание. Численно силы восставших были огромны. Все улицы запружены были народом. Захваченный утром арсенал был разграблен толпой: по рукам разошлось до 40 000 винтовок, до 30 000 браунингов, огромное количество патронов. По всем углам трещали шальные выстрелы, но бродившие по улицам вооруженные отряды не имели каких-либо определенных заданий. Автомобили из гаражей, взятые восставшими, бесцельно носились по городу, переполненные вооруженными, носились до израсходования запасов горючего, после чего машина обычно бросалась на произвол судьбы. Члены Временного Исполнительного Комитета поспешили вызвать в Таврический известных им военных партийцев; из этих военных организован был штаб восстания, в распоряжение которого поступили десятка два офицеров-фронтовиков, по преимуществу прапорщиков, примкнувших к движению и явившихся в Таврический; сюда же, в штаб, направлялись и делегаты от прибывших во дворец восставших полков. Но привести движение к планомерности штаб этот оказался бессилен. Выступившие на улицу войсковые части фактически распались: перемешались роты, батальоны, полки. Ни один из офицеров петро-

градского гарнизона не присоединился к восстанию: кое-кто был убит, кое-кто арестован, остальные скрылись; равным образом, в подавляющем большинстве своем скрылся и младший — солдатский — командный состав. В распоряжении «штаба» были лишь фронтовые, в отпуск или на лечение приехавшие в Петроград, ничем с местными войсками не связанные офицеры; их руками организовать разбушевавшуюся солдатскую массу было нелегко. Штаб восстания (получивший официальное название «Военной Комиссии Совета») ограничился поэтому организацией небольших сводных «ударных» отрядов из солдат разных полков, пришедших в Таврический и заполнявших все его залы и переходы. Отряды эти формировались постепенно, ставились под команду офицеров Комиссии и направлялись в те пункты, атака или охрана которых, по ходу дел, представлялись необходимыми. Такими отрядами заняты были все вокзалы, мосты, водопровод, электрическая станция; ими же охранялись крупнейшие винные склады, захвата которых толпою особенно опасался Исполнительный Комитет, так как это могло «утопить революцию в вине», как было это в 1905 г. в Кронштадте, во время матросского восстания. Этими же отрядами ликвидировались попытки противника проявить какую-либо активность.

Попытки эти были немногочисленны и бессильны; это во многом облегчало положение, потому что вплоть до первого марта, когда стихийное движение слегло и в Петроград вступили первые организованные воинские части, примкнувшие к революции, —

Таврический был, по существу говоря, не боеспособен. Хотя в первую же ночь удалось стянуть туда значительные запасы оружия и дворец был переполнен солдатами,—в случае удара скопление это содействовало бы лишь вящшей панике: бросить его на встречный удар — нам, работникам Военной комиссии, не удалось бы. В этом убедил нас инцидент 2-го марта, в безопасный уже для революции момент, когда подобравшаяся по чердакам к самому Таврическому команда протопоповских пулеметчиков открыла огонь по дворцу: выстрелы вызвали панику, не имевшую тяжких последствий только потому, что все дело ограничилось этими несколькими выстрелами.

Можно сказать с уверенностью: если бы в ночь с 27-го на 28-ое противник мог бы подойти ко дворцу даже незначительными, но сохранившими строй и дисциплину, силами, он бы взял Таврический с удара — наверняка; защищаться нам было нечем: утомленные за день люди, вповалку лежавшие по коридорам и залам, спали мертвым сном . . . под прикрытием двух нестрелявших пулеметов и орудия, смотревшего жерлом к Литейному, но не имевшего ни одного снаряда.

Правительство не смогло однако этого сделать: оно было совершенно дезорганизовано. Некоторая часть «правителей» была переловлена добровольцами в течение первого дня; «министерские» комнаты Государственной думы были до отказа набиты арестантами: жандармами, генералами, министрами и иными высшими чиновниками, которых приводили к нам — револьверное

дуло у виска — какие-то, неизвестными оставшиеся, люди, сдававшие пленных и уходившие снова «на охоту». Первым арестантом оказался Штюрмер: он был задержан в Думе утром «самим» Керенским. Уцелевшие министры частью попрятались кто куда мог, частью сосредоточились в штабе, приказом которого оставшиеся верными правительству войсковые части были оттянуты к центру города на Дворцовую площадь. Этим совершена была грубейшая ошибка: оттянув свои войска к центру города, в район казенных учреждений и дворцов, лишенный складов и лавок, — Хабалов дал восстанию охватить их со всех сторон, отрезав и от продовольственных магазинов и от складов огнестрельных припасов. Если бы он вырвался, своевременно, из зоны восстания, за городскую черту, — он мог бы, прикрыв подход фронтовых подкреплений, изолировать «очаг мятежа» и, усилившись отрядом Иванова, перейти затем в планомерное концентрическое наступление. Такой метод действий давал правительствам — в прошлой истории восстаний — неизменно твердый и быстрый успех.

Мы были почти уверены, что Петроградский штаб избрал именно этот метод действий: этим и объясняли мы тот факт, что в течение целого дня противника нигде не было видно. Оказалось, однако, что «верные его величеству» сами себя заперли в капкан, у подножья Александровской колонны, и бездействие их объясняется совсем другими причинами.

В распоряжении штаба Петроградского Военного округа, куда собрались оставшиеся

в городе высшие военные чины, начиная с военного министра Беляева, сосредоточились, под общей командой князя Аргутинского-Долгорукова: приведенный к повиновению Павловский полк, кексгольмцы, часть 9-го Запасного драгунского полка, казачья сотня, две роты гвардейского экипажа, присланные командиром экипажа, великим князем Кириллом Владимировичем, аттестовавшим их как «особо благонадежных», учебные команды еще нескольких полков, две батареи, прибывшие из Стрельны, и все уцелевшие силы полиции. Тщетно поджидали юнкеров военных училищ, на которых возлагали особые надежды; но юнкера не решились выступить: здания училищ были блокированы вооруженными толпами, малейшая попытка взяться за оружие повела бы к разгрому училищ. Такой же нейтралитет (при чем — неблагоприятный для правительства) сохранили 181 полк и лейб-гвардии Измайловский, офицеры которого даже заявили о желательности вступить в переговоры с Родзянкой и Думой.

Верные правительству войска держали Дворцовую площадь, Адмиралтейство, здание Градоначальства и Большую Морскую улицу; здание телефона, находившееся на этой улице, было, таким образом, в их руках. Хабаловым отдано было распоряжение включать только служебные телефоны. Но «телефонные барышни» также держали «нейтралитет», и телефоном одинаково пользовались обе стороны. Сенатская площадь не была занята, но на Исаакиевской установлены были на крышах полицейские пулеметы.

От этого «вражьего района» до огороженного пикетами—которые нам кое-как удалось выставить — Литейного района, в котором находился наш штаб, бушевало, в подлинном смысле слова, людское море. Грозное, победное, упоенное сознанием силы. Оно не давало дотянуться — ни нам до противника, ни противнику до нас: высылаемые с той и с другой стороны отряды одинаково растворялись в толпах. Этот стихийный, неодолимый захват толпы сказался с особой яркостью на отрядах, которые пытался продвинуть к Таврическому дворцу Хабалов; отряд даже такой силы, как Кутеповский, выступивший с Дворцовой площади в составе 6 рот, полутора эскадронов и 15 пулеметов, в общем, до полутора тысяч людей, смог продвинуться только до Кирочной и растворился без остатка. Боевые столкновения были поэтому редки: за первую решающую ночь поступили донесения о боях только от Тучкова моста, который, недолгое время, обороняла «заблудшая», отрезанная от штаба и не смогшая ориентироваться в событиях рота лейб-гвардии Финляндского полка; из Чубарова переулка, где в публичном доме накрепко засели было пулеметчики, выбившие из строя восставших, при штурме дома, удавшемся лишь по третьему разу — около 60 человек; от казармы самокатчиков на Выборгском шоссе, отбивших атаку рабочих Айваза и первых сборных команд — и сдавшихся лишь после того, как мы выслали два броневика им под стены. Да еще обстреляна была прорвавшаяся на Миллионную наша конная разведка и подбит броневик, попавший под огонь

из подвала—по колесам: пули пробили шины, и броневик сел.

Иных, сколько-нибудь организованных, схваток не было. Но по всему городу шли мелкие стычки с протопоповскими пулеметчиками, переволакивавшими свои пулеметы с чердака на чердак, осыпавшими неожиданным огнем из слуховых окон демонстрировавшие и митинговавшие толпы. Толпы расхлестывались бегством, от неожиданности; но тотчас вооруженные рабочие и солдаты, которых было много в каждой толпе, на каждой улице, — оцепляли дом, обыскивали верхи и низы, и, если пулеметчикам не удавалось за это время перекинуться на соседний дом и скрыться, тела городовых камнем падали сверху на тротуар, на фонари и тумбы. Но еще яростнее и настойчивее шла — по всему городу — охота за отдельными «врагами народа» — за городовиками, полицейскими, жандармами, офицерами. Участки были разгромлены, подожжено охранное отделение; та же участь постигла жандармское управление на Тверской, где захвачен был весь почти состав управления, с генералом Ивановым во главе (их, гуськом, в полной форме провели сквозь наш штаб, под конвоем, в министерские комнаты). Горел тяжелым, бессмысленным огнем Окружной суд. Огнем помечена была на небе каланча Александро-Невской части.

Все эти партизанские действия, поджоги, аресты и обыски, шедшие в квартирах «власть имеющих», шли вне всяких директив «штаба восстания» или Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депу-

татов, сформировавшегося в ночь с 27-го на 28-ое февраля. В его состав вошли: думцы — Скобелев, Чхеидзе и Керенский, 8 человек, избранных пленумом — Александрович-Дмитревский, Шляпников, Павлович-Красиков, Залуцкий, Стеклов, Суханов, Шатров-Соколовский и Капелинский; секретари Гвоздев, Гриневич-Шехтер, Панков и Соколов и представители партий: от большевиков — Молотов и Сталин, от меньшевиков — Богданов и Батурский, от Бунда — Эрлих и Рафес, от с.-р. Русанов и Зензинов, от с.-д. межрайонцев — Юренев, от латышских с.-д. — Стучка и Козловский, от народных социалистов — Пешехонов и Чарнолусский, от трудовиков — Брамсон и Чайковский.

Одной из первых мер, принятых Исполкомом, было создание организованной вооруженной рабочей силы: по районам даны были директивы — выделить отряды рабочей милиции по 100 человек на 1 000 рабочих и сосредоточить их к определенным сборным пунктам; сюда же предполагалось направить и те части революционных войск, которые сохранят порядок. Это должно было дать нам возможность на утро перейти в планомерное наступление — добить врага в городе и подготовить встречу двинутым против нас с фронта войскам.

Директивы эти были выполнены лишь частично; но двинуть формировавшиеся отряды в бой не пришлось: к утру противник отказался от всякого сопротивления.

У Хабалова, после «растворения» Кутеповского отряда, осталось только 4 роты, 5 эскадронов и сотен и 2 батареи: с такими

силами думать об активных действиях не приходилось. На военном совете оставшегося без войск генералитета решено было отойти в Адмиралтейство, поскольку оно представляло значительные выгоды для организации обороны (удобства обстрела подступов, малое количество входов). Войска забаррикадировались, против ворот установили орудия, в окнах верхнего этажа — пулеметы. Во время переезда в Адмиралтейство автомобиль с генералитетом был обстрелян, на Исаакиевской площади, обознавшимися пулеметчиками. Представители Морского ведомства, укрывавшиеся в Адмиралтействе, хмуро встретили, однако, защитников трона, справедливо опасаясь, что присутствие их наведет грозу и на их голову. К вечеру им удалось уговорить Хабалова перебраться в Зимний дворец — как более отвечающее, если не тактическим, то политическим требованиям — место. В Зимнем — Хабалов и прочие генералы застали Михаила Александровича, в течение всего дня принимавшего живейшее участие в организации обороны: к перенесению ее в Зимний он, однако, тоже отнесся хмуро — по тем же причинам, по которым морские чины выдворили защитников престола из Адмиралтейства. По настоянию великого князя войска в 6 часов утра снова перекочевали назад. Хабалов занялся составлением «обязательных постановлений», которые и были благополучно отпечатаны; но поскольку сфера хабаловского влияния ограничивалась в этот момент одною оградою Адмиралтейства — «постановления» были прибиты к этой ограде . . . для собственного сведения, а часть

разбросана по мостовой перед зданием. Беляев отправил телеграмму в Ставку: «Положение попрежнему остается серьезным». Провианта не было, солдаты весь день оставались без пищи, лошади — без корма. Городовые конного резерва добыли еще своим лошадям овса, совершив фуражировку в здание градоначальства, оставшееся не занятым, но казачьи лошади оставались голодными.

К утру в рядах обнаружилась сильная убыль людей. Из Царского получена была телефонограмма с требованием выслать конницу: тем самым отметалась всякая мысль о поддержке с этой стороны. Гарнизон Царского Села частью присоединился к Петроградскому восстанию, частью был нейтрализован; то же, очевидно, случилось и с войсками ближайших окрестностей: оттуда тоже шли недобрые для правительства вести; дальних же подкреплений, Ивановских эшелонов, можно было ждать только через сутки. Но революционеры явственно не собирались дать Хабалову столь долгий срок: уже на рассвете в район Адмиралтейства продвинулись разведочные отряды от Таврического; завязалась легкая перестрелка: правительственный отряд был, таким образом, обнаружен, надлежало ожидать атаки. Вскоре затем стало известно, что Петропавловская крепость, в течение первого дня остававшаяся за правительством, сдалась „по телефону“ Военной Комиссии, выславшей немедленно своего комиссара для приемки крепости. Адмиралтейство могло, с минуты на минуту, попасть под обстрел полевых батарей, выставленных распоряжением того же Хабалова на

крепостные бастионы. Тем настоятельнее предложил морской министр Григорович вывести войска из зданий Адмиралтейства, дабы не подвергать казенного имущества опасности разгрома. Беляеву и Хабалову пришлось уступить этим настояниям. Не говоря уже о малочисленности отряда, под утро насчитывавшего всего 3—4 сотни штыков (казаки еще ночью ушли, мотивируя свой уход невозможностью заставлять лошадей голодать), настроение солдат не допускало сомнений в том, что они сдадутся при первом же приступе. Около 11 часов утра Хабалов распустил, поэтому, остававшуюся при нем пехоту; городовые разошлись, переодевшись в солдатскую форму, для безопасности. С орудий сняли замки, сдав их под расписку коменданту Адмиралтейства. Вступивший вскоре затем в здание отряд революционных войск застал в нем только генералов — Хабалова, Балка, Занкевича, стоически пивших кофе в столовой — в ожидании ареста. Они были доставлены в Таврический. С ликвидацией этого отряда в распоряжении правительства не оставалось вооруженных сил — ни в Петрограде, ни в Гатчине, ни в Петергофе, ни в Царском. Но без вооруженных сил снималась последняя ограда „окружения“: революция становилась лицом к лицу с династией.

Глава V.

ОТРЕЧЕНИЕ.

Династия менее всего ожидала такой встречи: ни в Ставке, ни в Царском не давали

себе даже приблизительно вѐрного отчета о действительном положении дел.

Царское Село с первого же дня петроградских волнений оказалось, в сущности, выключенным из событий. Жизнь в Александровском дворце совершенно замерла. Александра Федоровна не выходила из комнат больных корью великих княжен и Алексея Николаевича, и сношения свои с внешним миром поддерживала через дежурного камер-лакея. Общение с таким собеседником мало что могло дать растерянным петроградским властям; они ограничивались, поэтому, краткими канцелярскими сообщениями о положении в столице.

Сообщения эти — вплоть до самой развязки почти — были оптимистическими. 24 февраля Протопопов, сообщая камер-лакею о начавшихся «беспорядках на почве недостачи хлеба», заверял его, что рассчитывает «справиться с волнением и не допустить ничего серьезного». На следующий день — протопоповский доклад был столь же бодр: он сообщил об арестовании им Петроградского городского головы за допущение накануне революционных речей в стенах Думы. Сообщение, к слову сказать, фанфаронское, так как никаких указаний не только что на арест, но даже на какие-либо попытки в этом направлении — нет. Только 26-го под вечер, накануне катастрофы, он поплакался тому же лакею, что «дела плохи». Вслед этому сообщению поползли по Александровскому дворцу зловещие слухи о ненадежности войск, о том, что волнения перекинулись даже в казачьи части — всегдашний надеж-

нейший правительственный оплот в борьбе с революционными выступлениями. Последнее сообщение успокоило Александру: оно казалось ей явственно невероятным. На доклад об этом она ответила «историческими» словами: «Это не так. В России революции быть не может. Казаки не изменяют». В этот момент по Марсову полю уже пересвистывались пули первой перестрелки.

На утро 27-го старому правительству было не до звонков в Царское. Только Родзянко, по чувству нового «хозяина» и старого холопа, предупредил телефонным звонком командира сводно-гвардейского, единственного надежного в Царском, полка, генерала Ресина, что столица фактически «в руках бунтовщиков» и Александровский дворец может оказаться под ударом. Он предлагал эвакуировать немедленно Александру и ее детей в безопасное место, несмотря на их тяжелую болезнь: «когда дом горит, — детей выносят». Он просил вместе с тем доложить императрице, что Дума «вынуждена была выделить под его председательством Временный Комитет, дабы власть в столице не закрепилась окончательно за революционным комитетом, руководящим уличными беспорядками». Александра Федоровна осталась во дворце: Родзянке она доверяла. К тому же она получила от Николая телеграмму, извещавшую о предстоявшем приезде его 28 февраля в 6 часов утра и о командировании в столицу отряда генерала Иванова.

Но к вечеру войска и рабочее население Царского восстали в свой черед: выступил, убив своего командира, 1-ый стрелковый полк,

соединился с рабочими и запасными пешей артиллерии и двинулся ко дворцу. Генерал Ресин, с двумя ротами сводного полка, матросами части гвардейского экипажа, конвойцами и запасной конной батареей, спешно занял для обороны линию дворцовой ограды. Александра Федоровна, памятуя о Марие Антуанетте и швейцарских гвардейцах в день взятия Тюльери, на заре Великой Французской революции, лично обошла цепь.

Столкновения, однако, не произошло. Охране дворца удалось договориться с восставшими: по обоюдному соглашению установлена была, впредь до выяснения общего положения, нейтральная зона. Руководители восстания и образовавшегося в тот же день и здесь Совета Рабочих и Солдатских Депутатов не проявили особой настойчивости, поскольку им стало известно, что императора, которого они искали, в Царском Селе нет.

Император в это время беспомощно мотался в поезде между Ставкой и Царским Селом. В Ставке он не нашел опоры в эти решающие для династии дни — даже в ближайшем ему генералитете. На защиту его не только не поднялось ни одной руки, но не раздалось даже ни одного голоса. Высший командный состав армии единодушно — кто совершенно открыто, кто прикровенно, не подымая глаз,—отрекся от него. Со всех фронтов, от всех командующих, от великих князей, от Николая Николаевича с Кавказа — шли телеграммы, различные по редакции, но единые по смыслу. Все они говорили о необходимости отречения. Тем не менее Нико-

лай продолжал упорствовать в том «взрыве энергии», который он испытывал, кажется, в первый раз за всю жизнь. Он выехал в Царское с решимостью доиграть игру при помощи „георгиевских кавалеров“ Иванова.

На первых перегонах от Могилева все еще шло как бы по-старому: на полустанках дожидались «высочайшего проезда» урядники, на станциях — губернаторы. Но чем ближе подходили литерные поезда, везшие царя и его свиту, к «мятежной столице», тем ощутимее становилась напряженность атмосферы: встречавшие на вокзалах растерянно отводили глаза. В Малой Вишере стало известно, что Любань занята революционными войсками. Придворные стали усиленно настаивать на изменении маршрута: Николаю советовали — «не лезть в волчью пасть», а повернуть на Псков, в штаб-квартиру генерала Рузского — стать во главе «верных войск» северного фронта и «собственной царственной рукой» подавить крамолу. После некоторых колебаний Николай принял совет. Но расчеты на Псков не оправдались в той же мере, как не оправдались перед тем расчеты на Ставку. Рузский определенно и решительно высказался за отречение императора, как единственное средство спасти династию. Но еще сильнее доводов Рузского подействовало на Николая неприбытие Родзянки, собиравшегося выехать в Псков для личных переговоров с царем. Родзянко не приехал потому, что, во-первых, поездке воспротивился Совет Рабочих Депутатов, справедливо опасавшийся какой-либо сделки у него за спиной; без разрешения же Совета из Питера не мог выйти

ни один поезд, так как железнодорожники выполняли только предписания Совета; во-вторых, Родзянко и сам побаивался отлучаться: положение в Петрограде оставалось напряженным. Он отступился поэтому от личной поездки, передоверив задание спасти династию — перемещением царского венца с головы на голову — двум, разной политики, но равной «буржуазной надежности» людям: Гучкову и Шульгину. Отказ Родзянки ни в коей мере не был, таким образом, проявлением каких-либо антидинастических чувств: совершенно напротив. Но, поскольку он не мог, по вполне понятной стыдливости, сознаться Николаю, что его не пускает приехать „какой-то Рабочий Совет“, император счел и этот факт за признак окончательной своей отброшенности. В довершение всего к 1 марта выяснилась полнейшая неудача экспедиции Иванова: кроме эшелонов, выехавших непосредственно с ним из Могилева, к месту назначения прибыл только Тарутинский полк, высадившийся 1 марта на станции Александровской и немедленно перешедший на сторону революции; остальные выступившие эшелоны по дороге были задержаны; в связи с этим отправка прочих, еще не произведших посадку, частей была отменена. Сам Иванов, прибыв в Царское, где его встретил высланный к нему думцами из Петрограда полковник Доманевский, ознакомившись с положением, отказался от активных действий за полной их безнадежностью. Петроград, к этому моменту, был уже боеспособен: рабочие дружины и полки восставшего гарнизона, восстановившие в своих рядах порядок, стояли под

ружьем; попытка атаки встретила бы организованное сопротивление. К тому же «георгиевский батальон», на который больше всего рассчитывал Иванов, категорически заявил, что стрелять по своим он не будет. Поезд из 52 теплушек с лейб-гусарами и кирасирами, шедший через Любань—Тосно в Царское, на соединение с Ивановым, был задержан распоряжением Военной Комиссии Совета Рабочих Депутатов в Любани. Иванов решил ограничить свою задачу прикрытием проезда императора в Царское Село — или вернуться в его личное распоряжение. Он оставил поэтому Царское (за несколько минут до подхода к вокзалу выступивших уже для его ареста революционных войск) и по соединительной ветке попытался через Вырицу переброситься на Варшавскую железную дорогу. На перегоне этом, у станции Сусанино, железнодорожники загнали однако его поезд в тупик; на перейму ему брошен был из Петрограда сводный отряд, с тяжелой артиллерией, что совершенно исключало возможность прорыва. Иванов вернулся в Вырицу, отказавшись от каких-либо дальнейших действий.

Крушение карательной экспедиции Иванова довершило удар: Николай понял, наконец, что ему не на что больше рассчитывать. Даже на вокзале, где он прогуливался около своего поезда, на него не обращал никто никакого внимания.

Гучков и Шульгин, «конспиративно», чтобы не сказать обманно, пробрались в Псков; по дороге они пробовали повидаться с Ивановым, но тот не мог двинуться с места, и разговор не состоялся. В Псков посланники Вре-

менного Комитета прибыли 2 марта в 10 часов вечера, немедленно приняты были Николаем и сговорились с полслова. Положение выяснилось к этому моменту вполне. Император понял, что Дума требует от него только «бумажки», революция — потребует головы. Шульгин и Гучков могли бы и не расточать своего красноречия, доказывая, что отречение нужно им главным образом для того, чтобы «вступить в решительный бой с левыми элементами» (Шульгин); «у всех рабочих и солдат, принимающих участие в беспорядках — уверенность, что водворение старой власти— это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыста, который сразу переменил бы все» (Гучков). Эта перемена «всего» виделась думцам в передаче престола Алексею под регентством Михаила. Уговаривать Николая было нечего, поскольку подписанное отречение лежало у него в кармане, но, повидимому, речи думских посланцев все же оказали на него определенное, хотя и совершенно неожиданное для Гучкова—Шульгина, действие: он заявил, что передумал и отрекается не только за себя, но и за сына, и передает «царственное наследство» Михаилу.

Он мотивировал это решение осознанной им невозможностью расстаться с сыном, которого он нежно любит. Поскольку эта мотивировка верна, решить, конечно, трудно: при семейных наклонностях Николая такое побуждение вполне допустимо, но допустимо видеть в этом и «политический» ход. Николай, в буквальном смысле слова, ненавидел Думу и думцев; а он был не из тех людей, которые

забывают ненависть: «доброта», о которой столь пространно и прочувствованно заговорила, после его конца, черносотенная монархическая печать — миф; когда он «служил», наследником еще, в лейб-гусарском полку, офицеры звали его «злым карлой». Он никогда не прощал обид: так, на отношения его с Витте несмываемую печать наложила обида, нанесенная в 1905 г., когда Витте опротестовал некоторые «высочайшие назначения». На докладе об этом царь «собственной его величества рукой» написал: «Я этого нахальства никогда не забуду». И, действительно, не забыл.

Забыл ли он во время Псковского разговора «нахальство» гучковских заявлений, заставлявших Александру Федоровну вздыхать в ее письмах к царю: «Неужели нельзя Гучкова повесить?» или, по меньшей мере, засадить за решетку, «придравшись» к чему-нибудь «по военному времени». Можно поручиться, что нет. И потому, как более или менее правдоподобное, было принято, знавшими Николая кругами, иное объяснение этого дополнительного отречения: Николай сделал это — на «зло» Думе, только потому, что этим он в чем-то разрушал ее расчеты, осложняя ее положение и запутывая Михаила. Косвенное подтверждение правильности такого мотива, дикого для политически мыслящего человека, но естественного для дегенерата, каковым был отрекавшийся, усматривали в том, что Гучков и Шульгин растерялись от двойного отречения настолько, что потребовали даже перерыва разговора, дабы посовещаться: приемлем ли для Думы

такой акт. Если верить придворным свидетелям сцены, Николай разрешил этот перерыв со злорадной улыбкой. Фактически разницы между отречением в пользу Михаила или в пользу Алексея не было не только для Николая, но даже и для Алексея, ибо манифест об отречении, подписанный Николаем, был редактирован в таких терминах, которые давали даже юридические основания для реставрации, если бы обстановка сложилась благоприятно для контр-переворота. Сознательно или неумышленно эта двусмысленность редакции не привлекла внимания ни Шульгина ни Гучкова: «бумажка» была у них, они поторопились вернуться. Захватить с собою поезд Николая они не смогли; вопрос о возвращении императора в Царское и о судьбе династии вообще не был урегулирован с Советом, и подымать его думцы опасались; без ведома же Совета железная дорога отказывалась пропустить царский поезд к Петрограду. В виду этого царь вернулся в Ставку, как наиболее, в конце концов, безопасное для него место.

К моменту возвращения делегации позиция лидеров буржуазии в Петрограде — в третий раз за эти дни — изменилась. От первоначального—скрытого, но тем не менее активного—противодействия революционному движению петроградского пролетариата, через полунейтралитет «вынужденного» участия «в целях восстановления спокойствия» — они резким толчком перешли к признанию и прославлению революции, которую с момента

определившейся ее победы они поспешно провозгласили своей.

Временный Комитет, до того времени прятавшийся в закоулках Таврического, за спиною Совета, заговорил совсем другим языком, стараясь заслонить Совет, выдвинуться на первое место, приписывая себе всю заслугу переворота.

Огромную роль в деле распространения по всей стране мифа о том, будто бы во главе переворота стояла Государственная дума, сыграл тот факт, что пресса была полностью почти в буржуазных руках. Сорганизовавшийся немедленно после переворота «Комитет Петроградских журналистов» — думский «синдикат» прессы, — восполнявший невыход обычных газет в течение первых революционных дней выпуском особых «Известий», широко распространил эту легенду. Под их перьями Совет Рабочих Депутатов обратился в какой-то подсобный, едва ли заслуживающий упоминания, лишь по неизреченной милости буржуазии, по любви ее к рабочему классу — допущенный к существованию, никакой политики не делающий орган; вся заслуга, вся часть, вся сила приписывались Государственной думе, которой «суждено было сыграть роль единственного в стране центра, спасшего своим авторитетом и престижем революцию». Когда буржуазные газеты стали выходить, ложь эта, в тысячах перепевов, изо дня в день, тупила обывательский слух. И не только обывательский, к сожалению: буржуазные газеты читала значительная часть и рабочих.

В то же время политики буржуазии лихорадочно вели и организационную работу. Они организовывали себе опору в двух направлениях: во-первых, на общественные организации, во-вторых, на армию. По первому направлению Временный Комитет поспешил привести к присяге наличные в Питере общественные организации, справедливо полагая, что присяга эта послужит сигналом к аналогичным выступлениям аналогичных организаций по всей России. Собранные инициативой думцев представители военно-промышленных комитетов, земского и городского союзов, санитарных попечительств и тому подобное, особой резолюцией «приветствовали постановление Государственной Думы... принять власть в свои руки. Временный Комитет... опирающийся на силы сознательной части армии, совместно с рабочими и населением, встретит дружную поддержку общественных организаций и даст, наконец, России полную победу над внешним и внутренним врагом». Буржуазия, таким образом, заявляла о готовности своей принять царское наследство полностью, не только в доведении до конца завещанной царизмом внешней войны и зависимости от Антанты, но и в отношении его «внутреннего врага»: заявление многознаменательное, тем более, что, как показали дальнейшие события, именно против «внутреннего врага» и обратила свое острие буржуазная политика.

Сложнее и труднее было второе направление — закрепление армии за буржуазией. Как уже указывалось выше, основной предпосылкой для закрепления этого было сохранение

армии такой, какой была она в царские времена, т.-е. организованной на началах слепого, нерассуждающего повиновения офицерам. Ибо само собой разумелось, что «выиграть армию» буржуазия могла рассчитывать только через офицерский, но никак не солдатский состав. Между тем, взаимоотношения между офицерством и солдатами были почти во всех частях армии таковы, что при малейшей революционной вспышке солдаты могли выйти из повиновения так же, как вышли они в Петрограде, где едва ли не большинство офицеров, даже после того, как слегла напряженность первых боевых дней, не рисковало вернуться в свои эскадроны и роты. В силу этого, первое, что постаралась сделать Дума: восстановить поколебленный в солдатской среде контр-революционным поведением офицерства офицерский авторитет. Тщанием думцев поспешно сорганизован был «Совет Офицерских Депутатов», с которым почти насильно заставили побрататься Солдатский Совет. В речах своих к войскам думцы неизменно и упорно повторяли: «Найдите своих офицеров, которые состоят ныне под командой Государственной Думы, и сами станьте под их команду» . . . поскольку они не решаются сами показаться вам на глаза. В приемах войск, являвшихся в Таврический, в обращении с солдатами, нарочито и подчеркнуто, сохранялся прежний, царского штампа, стиль. Родзянко здоровался с полками, «представлявшимися» (по предварительному сговору с командирами полков) Государственной Думе, по-генеральски: «Здравствуйте, молодцы!» — на что, по запеву фельдфебелей,

солдаты отвечали также по-старинке: «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство». Он демонстративно, в пику «отстраненному» Чхеидзе, именовал солдат — «православные воины» и поминал, в каждом выступлении своем, со слезою в голосе — «Святую Русь». Все эти речи и солдатские ответы, и офицерские клятвы на верность новой власти широко доводились до сведения фронтовых войск и тыловых гарнизонов. В одной из телеграмм, от 1 марта, с умилением описывалось, как «член Государственной Думы, священник Попов II с крестом в руках благословлял с подъезда Таврического революционные войска».

Что касается высшего командного состава, то с ним контакт установлен был, как указывалось уже нами, еще до отречения. В качестве общей меры «закрепления армии за Думой» — Временный Комитет признал целесообразным разослать по всем фронтам циркулярное сообщение, призывавшее «сохранить полное спокойствие и питать полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прекращено или ослаблено. Так же стойко и мужественно, как доселе, армия и флот должны продолжать дело защиты своей родины. Временный Комитет при содействии столичных воинских частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность правительственных установлений».

Незачем отмечать, с какой готовностью отозвалось на думский призыв, на-смерть перепуганное февральскими событиями, офи-

церство. Солдаты, в массе своей, также пошли на соблазн примирения: после столь непривычных, а для многих столь психически-трудных переживаний «восстания», отказа от законности, ставившего их, в случае неуспеха выступления, под опасность расстрела, «соблазн» возврата к легальности, возвращения в быт, действительно был чрезвычайно силен. Тем более, что Февраль, бывший «Революцией» для пролетариата Петрограда, уже прошедшего тяжкую и славную школу классовой борьбы, сознанию мобилизованных крестьян, переполнявших запасные батальоны, выступившие в февральские дни, казался «бунтом». У них было ощущение некоей «виновности», сбросить которое было для них радостно. «Миротворчество» думцев, в которых, по осанке Родзянки, по министерским речам Милюкова, по услужливости своих командиров, солдаты видели уже новое правительство, встретило в них даже бо̀льший отклик, чем ожидали сами думцы.

И «миротворчество» это, лозунг социального мира и общенационального единения под буржуазным покровом, с настойчивостью особой восславлено было буржуазной публицистикой, явственно противупоставлявшей его в расчете на характерную для обывательской массы тягу к «покойному житью»—призываем к борьбе, шедшим с левого, крайнего, непримиримого крыла социалистов. «Относительное беззлобие протекшей революции есть свидетельство золотого сердца народного: . . . тем же беззлобием отмечены и действия нового правительства . . . в его созидательной работе, в желании совокупными си-

лами всего населения, опираясь на заветы братства, равенства и свободы, вывести родину на путь славы к процветанию, осененными брызнувшими на нее лучами багряного солнца . . .». «Заветы Мономаха, Заволжских старцев (sic!), гуманная проповедь лучших представителей нашей общественности сливаются из дали времен с этими лозунгами и являют миру свидетельство широты и глубины русского духа, русского миросозерцания». В этих лирических строках с чрезвычайной наивностью и откровенностью отображено, как восприняли «широкие» буржуазно-обывательские круги восхождение буржуазной власти на смену опрокинутого царизма. Немудрено, что под этот «миротворчеством» малеванный стяг поспешили все уцелевшие черные силы и в первую очередь «старатели от чина духовного» — духовенство. На первые же выступления Родзянки — Милюкова петроградская профессионально - поповская организация—«Общество отцов дьяконов города Петрограда» — отозвалось воззванием, начинавшимся следующими проникновенными словами: «Аз есмь с вами до скончания века. Аминь. Православное духовенство призывается к единению с народом. Промедление угрожает православию гневом народа . . .».

Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов — частью вольно, частью невольно — потворствовал этой мобилизации буржуазных сил вокруг, столь внезапно объявившего себя «революционным», Временного Думского комитета. Он допустил двойной подмен: руководящего центра — и са-

мого смысла начатой февральским переворотом революции; и то и другое, конечно, теснейшим образом связано. Объясняется допущение этого подмена прежде всего тем, что руководящее меньшевистское большинство первого Совета Рабочих Депутатов считало факт перехода власти к буржуазии естественным, законным и необходимым. Многим из них, кроме того, непосильной казалась и самая борьба с буржуазией: при данном состоянии пролетарских сил, не уступить дороги — значило возобновить борьбу в полном объеме, но уже без тех выгод совершенной внезапности, которые имело февральское выступление, и, стало-быть, вновь поставить под вопрос даже те результаты, которых удалось — с такой легкостью — достичь в Февральские дни. Конечно, рабочие массы и значительная часть солдат были готовы к этой борьбе и даже требовали ее с достаточной настойчивостью: в провинции пролетариат подымался в бурных выступлениях, смыкаясь вокруг повсеместно создавшихся Советов. Но за действующую армию поручиться было нельзя: фронт знал о Петроградских событиях из думских, совершенно искажавших, как мы видели, действительный смысл событий, источников: приказы по Румынскому фронту и Одесскому округу изображали происшедшее, как «народные беспорядки, в прекращении которых приняли участие войска». Великий князь Николай Николаевич счел полезным вовсе даже умолчать о происшедшем перевороте, представив его в объявлении по войскам в виде каких-то ординарных «событий, вызвавших перемену

высших правительственных лиц, при чем в настоящее время наступило успокоение». При такой трактовке представлялось возможным, что буржуазии в предстоявшей схватке удастся удержать фронтовые войска за собой, чем, в конечном счете, предопределялся и исход самой борьбы в сложившихся условиях: Петроград рисковал оказаться в положении Парижской Коммуны 1871 года.

Совет, в силу этого, от борьбы уклонился. Он попытался, правда, изданием знаменитого «приказа № 1», предписавшего солдатам исполнять приказы Военной Комиссии Государственной Думы (образованной в противовес Советской Военной комиссии) только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов; отменявшего титулование офицеров и обязательное отдание чести; устанавливавшего выборные солдатские комитеты; передававшего оружие в исключительное ведение ротных и батальонных комитетов, с воспрещением выдавать их офицерам, и т. д. — словом, ломавшего вдребезги традиционный армейский и казарменный уклад; но, под давлением «объединенных сил буржуазии», ему пришлось и в этом пункте отступить, смягчив дополнительно изданным «приказом № 2» радикальность первоначальных решений. Лозунг «аполитичности армии», сохранения принципа «Великой Немой», во имя которого буржуазия отстаивала старый армейский уклад от всяких революционных новшеств, определенно поддерживался и меньшевиками. Лишь с большим трудом ле-

вому революционному крылу Совета удалось настоять на организации специальной «Солдатской секции» Совета, как центра «борьбы за армию», которая в складывающейся обстановке становилась для них насущнейшим заданием, определяющим дальнейшее развитие борьбы, от которой «на сегодня» отказывался Совет.

Лишь в одном вопросе Совет проявил совершенную непримиримость: в вопросе династическом. Буржуазия, принимая в полном объеме политическое наследство царизма, готова была принять его вместе с царем: форма конституционной монархии казалась ей наиболее даже отвечающей требованиям момента по соображениям и внешней и внутренней политики. Но в этом пункте Исполнительный Комитет, при переговорах своих с Временным Правительством, выдвинул совершенно ультимативное требование: не допускать восстановления династии на троне. В самом деле: отношение рабочих к династии было настолько нетерпимо, что в железнодорожных мастерских, например, где Гучков попробовал съагитировать на митинге рабочих в пользу «императора Михаила» — его немедленно арестовали, чуть не поставили под расстрел, и если бы акт отречения, бывший при Шульгине (так как прошли они на митинг прямо с вокзала, прибыв из Пскова), не был «с верным человеком» своевременно отправлен в надежное думское место — судьба документа стала бы неясной: об отобрании его у депутатов уже подымалась речь. Такие же резкие протесты вызывало всякое упоминание даже о возможности вос-

становления царской власти на других митингах, где думцы «пробовали в этом направлении» почву. Буржуазия не рискнула поэтому настаивать; она сочла более целесообразным выиграть время: ссылаясь на необходимость установить окончательно форму правления «демократическим путем», т.-е. при посредстве Учредительного собрания (против чего возразить у меньшевиков не хватало духу), думцы оттянули решение. Совет отказался от немедленного, революционным путем, провозглашения республики, Временный Комитет, со своей стороны, отказался от немедленного провозглашения монарха. Михаил Александрович, послушно выполнявший до сих пор все указания, которые получал он от думского центра, после совещания с главарями думцев, во время которого за принятие Михаилом немедленно престола высказались только Гучков и Милюков, подписал акт отречения, составленный Некрасовым, Набоковым, Нольде, Шульгиным и Керенским и повторявший те же фальшивые мотивы, которые приводились думцами в сделанном ими Исполкому «предложении отсрочки». Действительный смысл ее, с присущей ему . . . в тайных сношениях . . . прямотой разъяснил Родзянко в сообщении Рузскому (3-го марта): «При предложенной форме возвращения династии не исключено и желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжало действовать . . .. ныне действующее Временное Правительство. Я вполне уверен, что при таких условиях возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обеспечена».

Временное Правительство, на которое, по мысли Родзянки, возлагалось столь важное и почтенное задание, организовано было в ночь на 2-ое марта, соглашением между Временным Комитетом и Исполнительным Комитетом, из виднейших буржуазных лидеров: князя Г. Е. Львова, кандидатура которого в председатели Совета Министров предлагалась, как мы уже указали, в свое время царю Михаилом, в качестве лица, особо пригодного «спасти царизм», прикрыв его покровом «общественного доверия»; Милюкова — кадетского лидера, профессора и яростнейшего сторонника войны до победного конца и присоединения к Российским владениям Константинополя и проливов; Мануйлова, Терещенко (известного не столько политикой, сколько богатством), Коновалова (тоже крупного богача), Некрасова, Гучкова, Шингарева, Годнева и В. Н. Львова. Исполнительный Комитет отказался дать своих представителей в правительство, «политическое лицо» которого было столь ясно. Тем не менее Керенский, связанный, как мы видели, личной приязнью и политическими устремлениями своими со многими из вошедших в состав Временного Правительства, решился рикошетом, вопреки решению Исполкома, войти в кабинет Министром Юстиции. Исполком был осведомлен об этом, но до времени молчал. Признание Советом Рабочих Депутатов буржуазного Временного Правительства совершилось на основе обязательства новой власти выполнить следующие 8 пунктов, о которых договорились Временный Комитет и Исполком: 1) полная и немедленная амни-

стия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и проч.; 2) свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военно-служащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями; 3) отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; 4) немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны; 5) замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления; 6) выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования; 7) неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении; 8) при сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.

Особенность этих пунктов в том, что они совершенно не касались вопроса о соотношении двух «центров власти», фактически установившихся в стране: рабочего центра в лице Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и буржуазного в лице Временного Правительства. Пункты устанавливали лишь общие условия той политической обстановки, в которых должны были развиваться, в даль-

нейшем, соотношении эти — в сторону сотрудничества или в сторону смертельной схватки, от которой так явственно, в соглашении этом, уклонились обе стороны.

В уклонении этом не смела открыто признаться ни та ни другая сторона: верховники обоих комитетов — Комитета думцев и Комитета рабочих — равно лгали, когда говорили «своим» о непримиримости, когда делали вид, что переговорами и маневрами вынуждают противника к каким-то, будто бы, даже смертельным для него, по существу, уступкам. На деле они не только не старались потопить друг друга, но судорожно цеплялись за соглашение; оно было естественно и неизбежно, ибо, при всем различии «имен, наречей, состояний» и так называемых политических убеждений, люди Временного Комитета и люди Исполкома в подавляющем его большинстве были уже—от первого часа революции—объединены одним, общим, все остальное предрешавшим признаком: страхом перед массой.

«Как они боялись ее! [1]. Глядя на наших „социалистов", когда в эти дни они выступали перед толпами, заливавшими залы Таврического дворца багрецом знамен, перевязей, кокард, я чувствовал до боли, до гадливости их внутренюю дрожь; чувствовал, какого напряжения стоит им не опустить глаз перед этими,—так доверчиво раскрыв, настежь раскрыв душу, — теснившимися к ним рабочими и солдатами, перед их ясным, верящим, ждущим, „детским" взглядом. И вправду: ставка была страшна. Они были стихийны, эти „дети"; дробь их барабанов, отпугивавшая

[1] См. С. Мстиславский, «Пять дней». М. 1921.

от оконных стекол любопытствующих мещан, меньше всего говорила о „детской“. Мировая война, отбытая в кошмарных условиях царской действительности, до крайней остроты, до высшего проявления довела те черты, при изображении которых, в незапамятные еще времена, дрожали изощренные перья византийских летописцев в сказаниях о набегах руссов.... Достаточно было посмотреть, как носили они свои винтовки.... Затворы тряслись от напряженности заложенных в стволы патронов»....

. . . .

Легко было позавчера еще числиться «представителями и вождями» этих рабочих масс; без малейшей спазмы в горле говорил мирнейший из них, из парламентских социалистов, страшнейшие слова «от имени пролетариата».... Но, когда он, этот «теоретический» пролетарий, стал здесь рядом, во весь рост, во всей силе своей изможденной плоти и бунтующей крови... когда ощутима стала даже наиболее нечувствительным эта стихийная, воистину стихийная сила, способная вознести, но способная и раздавить одним порывом, одним взмахом, — невольно слова успокоения, вместо вчерашних боевых призывов, стали бормотать побледневшие губы «вождей». Им стало страшно... и не без оснований. Ведь совершенно недвусмысленно было отношение восставших рабочих и солдатских масс к «князьям», помещикам и фабрикантам. Одно упоминание о возможности назначения Львова председателем нового кабинета всколыхнуло в Солдатской секции Совета наших полковых депутатов: «Это что же, сменить

царя да на князя, только и всего?! Стоило штыки примыкать». Иные смеялись: «Прогадали, братцы! Царь—оно все-таки как бы для народа почетнее, или опять же: „император“. Одно слово чего стоит. Скажешь, как на трубе сыграешь; а князь, прямо сказать: безо всякого объему». А товарищ Савватий, лейб-гренадер, сверхсрочный, трижды георгиевский кавалер, один из немногих «нашивочных», почтенных избранием в депутаты, при общем сочувствии резюмировал кратко эти кулуарные разговоры: «Посадят — фукнем».

При наличии таких настроений, о которых, конечно, прекрасно был осведомлен Петроградский Исполнительный комитет, руководители его — с уверенностью можно сказать — никогда бы не пошли на соглашение, если бы верили, что смогут удержать в руках эту «массу», вождями которой они так неожиданно оказались. Но в возможность удержать ее они не верили: для этого надо было прежде всего суметь «удержать» государство, а «государства» думские социалисты наши боялись, пожалуй, не меньше, чем рабочих и солдат. Они не знали не только «будущего», но и прошлого «государства», которое пришлось бы им «поднять на рамена» в случае разрыва с буржуазной частью думского кабинета.

В этих условиях они естественно не могли решиться «взять власть». А поскольку так, они должны были пойти на все какие-угодно — в пределах терпимости масс — уступки кадетам, октябристам и иным, в которых они видели мастеров государственного дела, механиков, владеющих тайной непосильного для них аппарата.

Буржуазия Думы — обратно: она не боялась государства; напротив того, она тянулась к власти над ним всеми извивами своих щупальцев; она знала его и для «управления», конечно же, меньше всего чувствовала потребность помощи социалистов. И она, в свою очередь, никогда не пошла бы на соглашение «с этой публикой» (как брезгливо поводил плечом, говоря о Чхеидзе и Скобелеве, «маститый» Родзянко), если бы . . . не боязнь перед той же рабочей и солдатской массой, перед той же раскованной стихией. Настроение ее Милюков и прочие знали не хуже, чем Исполнительный Комитет, и в сложившейся обстановке лидеры социалистов естественно казались им единственным под руками спасительным громоотводом. Так или иначе, но для обеих сторон было ясно, что друг без друга им «не жить», что не только твердой, но и вообще никакой своей опоры нет ни у тех ни у других. А, стало-быть, чтобы удержаться на ногах, им не оставалось ничего иного, как опереться друг на друга: они так и сделали . . .

Но поскольку сознаться в этом страхе, тем более, конечно, массам, было равно невозможно для тех и других — те и другие лгали и своим и чужим: чужим — уверяя в любви, своим — уверяя в ненависти и стараясь дружеское объятие свое «с противником» представить глазам зрителей жестокой, не на жизнь, а на смерть схваткой. Не все лгали сознательно? Возможно: страх, как известно, туманит сознание . . .

Но это было беспощадно ясно со стороны.

В левом — интернационалистском и революционном—крыле Совета и в наиболее революционных рабочих районах (как в Выборгском районе, например, бывшем уже в то время цитаделью большевизма) сильны были настроения за немедленный повторный революционный удар, дабы не дать буржуазии закрепиться над пролетариатом завоеванных февральских позициях. Численно левые элементы эти не были сильны в Совете, но еще не сошло возбуждение дней восстания, и при обсуждении вопроса о Временном Правительстве (ибо Исполком должен был получить санкцию Совета на подписанное им с думцами соглашение) могло случиться и так, что «левые» увлекут за собою «центровиков» или, точнее сказать, «промежуточников», которых в Совете было большинство. Да и по существу, в условиях, в которых произошел переворот — при полном неучастии в нем хотя бы каких-нибудь групп буржуазии, — убедить представителей революционных масс в необходимости передать власть именно ему, этому, не сопричастившемуся крови народного восстания мещанству, — казалось, на первый взгляд, психологически почти невозможным. «Взвести к рулю, с пистолетом у виска, классовых своих противников: пусть ведут корабль, куда им прикажут рабочие и солдаты, которые сами не умеют еще управить курс государственного корабля»; как заставить поверить в правильность, в честность, в исполнимость такой формулировки?

Задача Исполкома провести свое решение в Совете представлялась поэтому нелегкой. И все же это удалось руководителям

Исполкома. Они мобилизовали все силы и, подлинно, затопили Совет горячими, страстными, безоглядно революционно-звучавшими на этот раз речами. Чувство огромного риска (ведь, воистину, для них решалось — «быть, или не быть») придавало особую силу, особую «жизнь» их словам, особую искренность, особый пафос их убеждения и призывам. Пусть страх рождал в них эту яркость, что нужды! Пафос захватывал. Он заворожил, в истинном смысле слова, непривыкший еще, податливый к свободному слову, наивный неиспытанный слух!

Ответным трепетом—неудержимо, страстно откликался переполненный людьми, душный, но так вольно, так радостно, так буйно дышавший зал. И, понемногу, утомленные непривычным душевным напряжением этой «литургии Свободы», которую, на собственной крови, служили мы, всем городом, вот уже четвертую ночь—смягчали свою суровость настороженные, зоркие глаза—они становились ласковее. Духом примирения повеяло над залом... В этот момент выступил Керенский.

. . . .

Его особенность, как оратора, искони была в исключительной воспрнимчивости настроения аудитории, перед которой он говорил; не он владел слушателями, но слушатели владели им. Он был поэтому бессилен перед враждебной толпой, он не в силах был переломить силою слова, силою воли, собственной своей силой, настроение и мысли массы; он был неизменно бледен — перед аудиторией безразличной; но он был страстен и блестящ, когда его подхватывала волна уже го-

тового, ждавшего его воодушевления, когда он шел по гребням перекатов, уже взмывшей под небо, волны. И в тот вечер — он не мог не говорить — легко, свободно и сильно раскрыв душу, как раскрыли ее в увлажненных глазах своих теснившиеся перед ним солдатские и рабочие депутаты...

И потому с особой, непривычной силой звучала его порывистая, захлебывавшаяся по временам, защитительная речь.

Стонами врывались в нее, рассекая размеренность бешено рвавшихся слов, отклики неизжитых колебаний, колебаний мучительных, ибо в этот момент, под гипнозом общего высокого настроения; он был искренен, он заглядывал, быть-может, в такие тайники своей совести, которые были закрыты для него накануне и которые назавтра захлопнулись первым движением его министерской печати, наглухо, надолго... навсегда.

От первой, резкой постановки вопроса о доверии, и почти до конца, когда он почувствовал уже успех и слова его стали шататься, словно в изнеможении—речь эта была страстным воплем о нравственной поддержке, об оправдании сделанного им шага. И только на последних фразах он оступился резким, непоправимым срывом: «В моих руках, как министра юстиции, находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из рук... Первым моим шагом было освободить депутатов социал-демократической фракции»... Воистину безгранично велика должна была быть «примиренность» настроения слушавших его, готовность их на всепрощение, — если они простили эту постыдную,

тюремную «расчетливую» фразу, — перекрывшую для меня в один удар пульса всю его страстную исповедь.

Но они снесли. Они простили. Гулом аплодисментов был покрыт его заключительный вскрик. Тем самым он счел себя оправданным. Но тем самым получил признание и самый кабинет. Исполком поспешил повернуть руль к голосованию. Чхеидзе уже улыбался глазами, как всегда благодушному, словно полусонному Скобелеву: ставка была выиграна.

И, действительно, лишь ничтожная, численно, кучка—15 человек—высказалась за непримиримость, за отказ от всякого соглашения с буржуазией; результаты голосования были предрешены.

Подавляющим большинством принята была доложенная Исполкомом «новая правительственная программа» — итог его соглашения с думцами. И недоверие, забаюканное заседанием этим, нашло себе выражение лишь в двух, внесенных в соглашательский проект, поправках: в первой — заключалось требование, чтобы Временное Правительство оговорило, что все намеченные его программой мероприятия будут осуществлены немедленно, несмотря на военное положение; другой же пункт определял создание наблюдательного, за действиями правительства, комитета из состава Исполкома Совета Рабочих и Солдатских Депутатов... «Пистолет к виску»... Керенский мог бы в постановлении этом усмотреть вотум недоверия к себе: разве не значило это, что его присутствие в кабинете признавалось недостаточной гарантией. Но он не обиделся.

Признание Временного Правительства отметило новый этап в развитии революции: с этого момента началось «восхождение к Октябрю». Но на пути этом с царизмом уже не приходилось считаться: с царизмом — и для пролетариата, и для буржуазии (кроме незначительного, по существу, крайнего правого ее крыла) — так или иначе было покончено. Оставалось вырешить лишь, как быть с оставшимися после царизма царями.

Глава VI.

ЦАРИ ПОСЛЕ ЦАРИЗМА.

По существу, династия уже в этот момент не представляла опасности. Николай, Александра, Алексей были брошены, с совершенным цинизмом, не только придворными, но и членами собственной «императорской фамилии».

«Разложение царизма» еще задолго до «катастрофы» ощущалось и на верхах: великие князья, за последние годы, все сильнее и сильнее опасались, что правительственный курс, вызывавший все более и более сильное возбуждение в стране, приведет к концу, — крушением монархии, — и их беззаботное и тунеядное существование. То один, то другой из них пытались, по временам, делать на этот предмет осторожные «представления» царствующему. Но Николай к таким представлениям относился всегда с большей или меньшей резкостью, с мнением князей не считался, а зачастую и попросту третировал их.

Особенно обострились отношения в период распутинщины, когда дело дошло до коллективного заявления 17 великих князей, об опасности, которой грозит династии возведение старца в сан «царя царей». И на этот раз отпор царя был резок и решителен. Теперь, после революции великие князья поспешили выместить минувшие обиды и заодно «застраховаться» — зарекомендовать себя перед новым правительством с наилучшей стороны, в расчете на то, что таким способом им удастся в той или иной мере отвести грозу, нависшую было над их благополучием. Они наперебой печатали в газетах сенсационнейшие беседы с репортерами, обливая грязью «старый режим» и попутно бывших царя и царицу, и не скупились на заверения в преданности своей — конституционному строю. Александра Федоровна была совершенно брошена в своем Царскосельском дворце; лица, вчера еще близкие к ней, не только перестали посещать дворец, но даже воздерживались от телефонных с нею переговоров. Николай, вернувшийся из Пскова в Ставку фактически уже частным лицом (поскольку одновременно с отречением он передал верховное командование Николаю Николаевичу), был также совершенно оставлен; приближенные под тем или иным предлогом исчезали из его кругозора, и, когда из Могилева он был, наконец, доставлен в Царское Село, при нем уже никого не осталось. Красочно рассказывает об этом полковник Кобылинский, встречавший Николая на Царскосельском вокзале по своей тогдашней должности начальника царскосельского гарнизона:

«Я не могу забыть одного явления, которое я наблюдал в то время. В поезде с государем ехало много лиц свиты. Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро, быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо проникнутые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, как удирал тогда начальник походной канцелярии императора генерал-майор Нарышкин и, кажется, командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель». Рассказ Кобылинского дополняет камер-лакей Волков, также встречавший Николая на вокзале: «По званию и по должности наиболее близкими к государю лицами были: гофмаршал Долгоруков, обер-гофмаршал Бенкендорф, флигель-адъютанты Нарышкин, Мордвинов, Саблин и герцог Лейхтенбергский. Нарышкин, Мордвинов и Лейхтенбергский были в поезде государя. Приехав во дворец, государь спросил меня про Мордвинова и Лейхтенбергского: „Приехали ли они?". Я побежал и спросил об этом Бенкендорфа. Бенкендорф мне сказал: „Не приехали и не приедут". Я передал его слова государю. Он не подал никакого вида и только сказал: „Хорошо". А Мордвинов был одним из любимых государем флигель-адъютантов. Таким же любимым флигель-адъютантом был Саблин. Когда в дни переворота ко дворцу стали стягиваться войска и пришел гвардейский экипаж, в составе которого находился и Саблин, я видел почти всех офицеров экипажа. Но Саблин не явился и больше царской семье не показался».

Около «царей» осталась только небольшая кучка стариков-придворных, обжившихся во дворце настолько, что трудно сказать, что их удержало при отрекшихся: привычка ко дворцу или преданность династии.

Даже крайние, воинствующие монархисты вынуждены были признать факт этой всеобщей, равнодушной и открытой брошенности «бывших» самодержцев. Генерал Дидерихс, по поручению Колчака производивший «исследование» обстоятельств конца дома Романовых, с душевным прискорбием свидетельствует (во II книге своего «Исследования») о «страшном одиночестве духа и мысли, в котором находился государь в своем идейном и духовном служении самодержавной русской власти».

Причину этому приходится видеть прежде всего в личных качествах Николая, главным образом в столь характерной для него «внутренней пустоте», определявшей его совершенную безличность. В высокой мере характерно, что отношение буржуазии к нему после отречения, когда сняты были с суждений о «бывшей царской фамилии» всякие цензурные запреты, не имело ни в какой мере злобного, гневного характера: оно было попросту презрительным. Бесчисленная сатирическая литература, народившаяся в послефевральские дни, с чрезвычайной отчетливостью об этом засвидетельствовала: вся она, в буквальном смысле, без исключений идет не от политики, но от личных качеств, не от царизма, как такового, но от личности царя, как человека. Типичным образцом, в данном слу-

чае, может служить стихотворение В. Князева в «Биче»:

Пеняют мне, зачем, мол, Николаю
Не воздаю я должного строкой.
Ах, господи, да просто не желаю
Касаться нудной мелочи такой...

И дальше в том же смысле и стиле:

Ну, что за смысл ничтожного клопа мять
Иль думать о каком-то мизгире.

«Ничтожество» это—перекрывало для буржуазных журналистов даже кровь, которой было так обильно царствование Николая. О ней напоминали те же сатирики и карикатуристы, но напоминали беззубо.

«Клаус II Голштейн-Готорпский»,—подписано под одной из первых карикатур после свержения Николая, в «Новом Сатириконе» (№ 2)... «Достаточно взглянуть на умное, интеллигентное лицо этого знаменитого иностранца, чтобы волна стремления к монархизму затопила сердца нашего читателя. Важнейшие этапы этого гениального монарха: Ходынка, Порт-Артур, Цусима, 9 января и пр. По собственному признанию любит цветочки, хотя вместо цветочков любил срывать головы своих верноподданных. В отличие от обыкновенных людей ушиблен не мамкою, когда был маленьким, а японцем в Отсу, когда уже вырос. Это сказалось. Молчалив не без основания. Теперь ведет замкнутый образ жизни».

Цитата эта едва ли не самая острая, что дала сатирическая литература 1917 года. Карикатуры 1905 года были несравненно острее. И это — примечательно. Буржуазия относилась к Николаю остро в период борьбы за его

наследство, которого в 1905 г. он, в силу известных личных побуждений, не хотел уступить; когда он отдал это наследство, вся острота отношения к нему сразу же исчезла. Ибо борьба с царизмом для буржуазии была фактически не борьбой против старого строя, а борьбой за участие в нем, за первенствующее место в нем; и, когда спор закончился в их пользу, они сразу стали по отношению к бывшему царю и ко всей прошлой политике его беззлобными.

Иначе смотрели на династический вопрос рабочие массы. Они не забыли о «крови царствования» и простить эту кровь не могли: не Николаю лично, но царизму. Царь был для них живым символом царизма; даже независимо от личных его качеств преступления его были, прежде всего, «царистскими», присущими царизму вообще — «царям» вообще. Поэтому самая мысль о реставрации, хотя бы в конституционных формах, была для рабочих абсолютно нестерпима, оскорбительна для взбуженного революционного сознания. Царь — не в лице каком-либо, а в самом понятии — должен был раз навсегда быть выведен из российского обихода.

Между тем, уже во время предварительных переговоров с думцами об образовании Временного Правительства членам Исполкома, хорошо знавшим, конечно, отношение масс к династическому вопросу, не могло не стать ясным, что для буржуазии вопрос о реставрации не только остается открытым, но что определенная часть ее способна заняться, в предстоящий переходный период, именно подготовкой реставрации. Об этом свиде-

тельствовал отказ думцев включить в договорные пункты обязательство Временного Правительства воздерживаться от всяких действий, способных предрешить форму будущего правления. Это понудило Исполком поставить вопрос о династии на немедленное обсуждение рабочих депутатов. 3-го марта Исполком постановил арестовать династию Романовых, предложив Временному Правительству провести этот арест совместно с Советом. В случае же отказа, запросить, как отнесется Временное Правительство, если Исполнительный Комитет сам произведет арест, и ответ правительства обсудить вторично. По отношению к Михаилу произвести фактический арест, но формально объявить его лишь подвергнутым фактическому надзору революционной армии. По отношению к Николаю Николаевичу, в виду опасности арестовать его на Кавказе: предварительно вызвать его в Петроград и установить в пути строгое над ним наблюдение. Арест женщин из дома Романовых производить постепенно, в зависимости от роли каждой в деятельности старой власти. Вопрос о том, как произвести аресты, и организацию арестов поручить разработать Военной Комиссии Совета рабочих депутатов[1].

В постановлении этом нашла отражение правильная оценка значения отдельных «высочайших особ» — в возможной политической игре монархистов — конституционных и самодержавных; в длинном ряду «фами-

[1] См. протокол заседания Исполкома от 3 марта 1917 г.

лии» выделялись три «активных» фигуры, которые и намечались к обязательному аресту, в первую очередь: Николай, Михаил, Николай Николаевич. При этом, поскольку Михаил был явным кандидатом буржуазии, Исполком избегал демонстративным арестом обострить отношения, только что урегулированные договором о Временном Правительстве. В постановлении же о Николае Николаевиче сказался учет его несомненной популярности в кавказских войсках, которыми он командовал. Попытка ареста могла толкнуть его на открытое выступление, способное в значительной мере осложнить весьма еще зыбкое политическое положение.

Правительство приняло предложение Исполкома: свежа еще была память о попытке царскосельских солдат захватить в первый день революции в Царском Селе Александровский дворец в поисках царя. Арест давал возможность дать царям вооруженную охрану, на которую они иначе не имели никаких прав. Постановление Временного Правительства состоялось вечером 5 марта, но самые аресты произведены были только 8 марта: Александре «сообщил об аресте» новый командующий войсками Петроградского округа генерал Корнилов; в Ставку, для доставления Николая в Царское под арест, командированы были комиссары Временного Правительства: А. Бубликов, С. Грибунин, И. Калинин, В. Вершинин. И в том и в другом случае объявление сделано было в самых мягких формах, с придворными поклонами: «арестовывавшие» всячески старались подчеркнуть, что арест производится в интересах самих же арестуе-

мых. Комиссары, прибывшие в Могилев, довели свою предупредительность до того, что «лично государя не беспокоили, ограничившись сношениями с генералом Алексеевым»; они не показались Николаю даже при посадке и «в пути также не беспокоили царя своими посещениями...».

В отношении Михаила арест был проведен чисто номинально: великий князь был лишь ограничен, в известной мере, в своих поездках в Петроград, но в Гатчине, где он остался на жительство, никаких стеснений не испытывал. То же произошло с Николаем Николаевичем: он не был, конечно, допущен до командования, которое «завещал» ему Николай (пост верховного главнокомандующего был замещен Алексеевым, которого Николай называл «своим косоглазым другом»; впоследствии генерал полностью оправдал этот лестный эпитет); но вместо заключения — Временное Правительство разрешило ему удалиться на юг, в одно из его имений, откуда он, когда пришло время, благополучно эвакуировался за пределы досягаемости Революции.

Прибытие Николая в Царское вызвало значительное возбуждение в рабочих районах. Напуганное этим Правительство, опасаясь, что принятые им меры к охране бывших царей окажутся недостаточными, решило прибегнуть к более радикальной мере: эвакуировать царскую фамилию в Англию, под родственное крыло английской династии и в непосредственную близость к колоссальным суммам, положенным в английские банки царской фамилией. Во избежание каких-либо осложне-

ний в пути, арестованных должен был проводить до Архангельска (где «царственный груз» должно было принять английское судно) «сам» министр юстиции и... товарищ председателя Исполкома Совета Рабочих и Солдатских Депутатов А. Ф. Керенский.

Узнав о замысле этом, Исполком, 9 марта, в самый день прибытия Николая в Царское, поднял по тревоге рабочие дружины и войсковые части, на которые мог рассчитывать, отдал распоряжение о занятии всех вокзалов этими дружинами и частями — на случай попытки Временного Правительства вывезти арестованных из Царского. На созванном экстренном заседании Исполкома постановлено было: отправки в Англию бывшей царской семьи не допускать ни в коем случае, даже если бы из-за этого пришлось пойти на разрыв с Временным Правительством; декоративный арест, инсценированный правительством, обратить в арест действительный и, вообще, принять все меры к тому, чтобы раз навсегда обезопасить революцию от какой-либо угрозы со стороны династии; точнее меры эти не были формулированы, но С. Мстиславскому, командированному непосредственно с заседания Исполкома в Царское в качестве «чрезвычайного эмиссара», предоставлена была полная свобода в выборе средств. В мандате, выданном на его имя, предписывалось «немедленно отправиться в Царское Село и принять всю гражданскую и военную власть для выполнения возложенного на него особо важного политического акта». Под «актом» этим одинаково можно было понять и арест и расстрел.

Именно в последнем смысле поняли мандат Мстиславского в Царском Селе, куда он прибыл с отрядом семеновцев и пулеметчиками; этим объясняется упорное сопротивление, которое встретил он при выполнении своей задачи со стороны царскосельских властей и офицерства занимавшего дворец второго стрелкового полка. Тем не менее, при поддержке солдатского состава караула, миссию удалось выполнить бескровно. Как выяснилось на месте, арест оказалось возможным провести во всей строгости в том же Александровском дворце, без перевода арестованных в Петроград в Петропавловскую крепость.

По требованию эмиссара, арестованный был предъявлен ему; комнаты, в которых находились „бывшие цари", были наглухо—тройным рядом постов и караулов—отрезаны от внешнего мира. По инструкции никому, не только из членов бывшей императорской фамилии, но даже и прислуге, ни под каким предлогом не разрешалось выходить за дворцовую черту. Всякий, вошедший во дворец с разрешения Временного Правительства, тем самым становился арестованным; обратного хода ему уже не было. Внутри замкнутого оцеплением крыла дворца, за дверями, запертыми тяжелыми засовами и охраняемыми сильными караулами, не оставлялось ни одного солдата. Эта мера представлялась в высшей степени рациональной, ибо она раз навсегда исключала возможность общения арестованных с внешним миром — неизбежного, если бы «узники» могли подойти к страже. Ибо, как доказывает из-

вечный опыт, всегда находится среди стражи человек, который не устоит перед соблазном жалости, уважения... или подкупа. При данной системе Николай Романов оказывался, в буквальном смысле слова, «замурованным» в этом отрезке дворца, со своими лакеями и поварятами. Оставалось лишь обеспечить точное блюдение инструкций; для данной цели Исполкомом назначен был в тот же день специальный «комиссар по арестованию особ бывшей императорской фамилии, содержанию их под стражей и переговорам с ними». Временное Правительство, стиснув зубы, вынуждено было санкционировать все эти Исполкомом принятые меры: итти на разрыв — на династическом вопросе — оно сочло для себя невыгодным; оно снова положилось на время.

И в расчете этом оно до времени не обманулось. О царскосельских арестованных быстро стали забывать. «Царей» никто не тревожил больше. Николай и Александра сошли в «частную жизнь». Большая часть придворных, которых застал еще, по своем приезде из Ставки, арестованный император, разбежались в ближайшие дни, не пожелав разделять, по новой инструкции, ареста; остались только фрейлина графиня А. Гендрикова, фрейлина баронеса С. Буксгевден, гоф-лектриса Е. Шнейдер, гофмаршал князь Долгоруков, лейб-медик Боткин, дядька Алексея Деревенько и наставник его П. Жильяр. Связи с внешним миром рвались день ото дня не в силу строгости ареста: инструкция перестала соблюдаться, как только прошел первый острый момент; ее соблюдал во всей строго-

сти только 2-ой полк, давший упомянутому выше эмиссару Совета слово — ни на иоту не отступать от установленных правил заключения; 1-ый и 4-ый полки, сменявшие 2-ой на караулах, допускали значительные отступления; равным образом допускали всяческие послабления и коменданты. Таким образом, при желании можно было бы поддерживать постоянную и живую связь. Бывшие «близкие» отказывались, однако, от нее из страха каких-либо возможных осложнений, или, попросту, за отсутствием какого-либо интереса к арестованным. «Цари» жили, в силу этого, замкнутым семейным кружком. Ими никто не интересовался. Нигде, ни в каких общественных группах не наблюдалось каких-либо поползновений вызвать их вновь на историческую сцену. Действующие и общественные силы напряженно и целиком отвлечены были все ярче разгоравшейся, день ото дня, борьбою между буржуазией, старавшейся закончить свою незаконченную до переворота организацию и окончательно закрепить за собою власть, и «низовым» — рабочим и крестьянским движением. Между левыми и правыми шла страстная борьба за армию.

О «царской фамилии» вспомнили только тогда, когда июльское выступление большевиков поставило правительство перед вопросом о возможности нового переворота. Оно сочло, в связи с этим, целесообразным своевременно удалить царскую семью из вновь становившейся опасной для нее зоны. 1 августа Николай с женой и детьми были отправлены под конвоем гвардейского отряда особого назначения в Тобольск. Рабочие

Петроградского паровозного депо, узнав о назначении поезда, отказались дать паровозы, и Керенскому пришлось долгое время уговаривать их согласиться на выпуск; инцидент был разрешен только при содействии Исполкома Совета, к этому времени уже безоглядочно сотрудничествовавшего с правительством. Состав «охраны» был подобран Керенским с таким расчетом, чтобы «августейшим» был обеспечен самый предупредительный и почтительный уход. Комиссаром при арестованных назначен был личный друг Керенского, инженер П. М. Макаров, о котором с язвительностью пишет генерал Дидерихс в своем цитированном уже «Исследовании»: «Он сам себя выдавал за социалистического партийного деятеля, пострадавшего при прежнем режиме, а по заключению генерала Татищева был таким же социалистом, как и он — Татищев». Что касается начальника охраны Кобылинского, то он и не скрывал своей прямой симпатии и верноподданнической преданности заключенным.

В этих условиях жизнь в Тобольске, куда царскую семью Макарову удалось провезти, успешно миновав поджидавших на пути следования — в нескольких местах — вооруженных крестьян, намеревавшихся остановить поезд и покончить с Николаем самосудом,— сложилась еще свободнее и спокойнее, чем в Александровском дворце. Общение с городом фактически совершалось без препятствий и ограничений. Лица свиты выходили из дома, где содержались арестованные, когда угодно, входили в любое время, без обыска и т. п.; арестованные ходили в цер-

ковь, а во внутреннем укладе жизни не испытывали никаких стеснений.

Сменивший Макарова Панкратов оказался еще более покладистым и предупредительным: он зорко охранял интересы арестованных. В воспоминаниях своих он рисует царскую семью самыми привлекательными красками. По его словам, она была во всем прошлом—без вины виновата. «Она задыхалась в однообразной дворцовой атмосфере, испытывала голод духовный, жаждала встреч с людьми из другой среды, но традиции, как свинцовая гиря, тянули ее назад и делали рабами этикета».

Октябрьская революция не сразу дошла до Тобольска. Уже после установления Советской власти, там долгое время еще сохранялась власть губернского комиссара, городского самоуправления и даже производились выборы в земство. Совет, к которому номинально перешла власть, дважды предписывал перевести «царей» в каторжную тюрьму. Но Панкратов не только не выполнил приказания, но даже не допускал председателя Совета к поверке арестованных.

Известные ограничения поставлены были «царям» лишь в декабре 1917 г., когда за обедней дьякон демонстративно провозгласил на эктинии молитву о здравии «его императорского величества» и т. д., — именуя арестованных их полным титулом. Этот случай вызвал сильнейшее возбуждение в городе и едва не повел к самосуду. Вместе с тем, вокруг нового места заключения арестованных стали плестись нити первых, оставшихся не до конца

раскрытыми, офицерских заговоров. В Тобольске появлялись агенты — то «Союза тяжелой кавалерии», монархической организации, перенесшей после октябрьской революции свой центр в Берлин, но имевшей «отделение» в Петербурге; то от специальных «для спасения императорской фамилии» созданных офицерских кружков.

Кружки эти были немногочисленные и не имели средств; к тому же, судя по тем — весьма скудным — данным, которые имеются о деятельности этих кружков в зарубежной белой печати, в составе их не было ни одного сколько-нибудь умелого и решительного человека. Едва ли не в большинстве их было больше «спекуляции», чем контр-революции: под предлогом «освобождения арестованных» люди получали кой-какие средства из-за границы, от родственников, или от остервенившихся — под тяжестью октябрьского режима — случайно уцелевших и законспирировавшихся людей старого строя. Ничего серьезного эти «покушения на покушение» освободить царскую семью не имели. Однако, поскольку нельзя было быть уверенным, что, наряду с вскрытыми нитями нет и не вскрытых, Советская власть сочла целесообразным: сначала усилить меры наблюдения и охраны, частично сменив и обновив состав караульного отряда и заменив Панкратова, в конце января 1918 года, более надежным комиссаром; в дальнейшем же — решено было передвинуть арестованных в более надежное место: Николай и Александра с детьми переведены были в Екатеринбург — под надзор революционного пролетариата Урала.

Во весь период Временного Правительства вплоть до последних дней керенщины царская семья, явственно, нимало не тревожилась за свое будущее. Имеются указания, что Николай, на сделанное ему — приставленными к нему тщанием Керенского и Кобылинского солдатами 4-го полка — предложение бежать ответил отказом. Этим указаниям можно поверить: ибо в условиях Тобольской ссылки бежать — значило бы менять верное на неверное. Отношение буржуазии к Николаю, как мы видели, было таково, что он мог спокойно выжидать будущего: об отношении этом он был прекрасно осведомлен, а к Керенскому лично относился не только с полным доверием, но и с симпатией, постоянно справляясь у комиссара о делах и здоровьи «Александра Федоровича». Октябрьская революция резко изменила положение. У нас нет объективных данных судить — зачем и для чего царская фамилия держалась, с момента перемены режима в ее Сибирской ссылке, «готовой в путь», но самый факт такой готовности не подлежит сомнению. Генерал Дидерихс, которого меньше всего, конечно, можно заподозрить в желании оправдать меры, принимавшиеся Советской властью против побега арестованных, свидетельствует, на основе данных документальных, что, перед приездом в Екатеринбург, драгоценности, вывезенные бывшими царями из Царского, были зашиты в дорожные костюмы: «крупные бриллианты в большие пуговицы синих дорожных костюмов; нити жемчуга — в дорожных шляпах; разные более мелкие вещицы в лифчики, которые

великие княжны надевали поверх корсетов, и т. д.».

Переезд в Екатеринбург стал для династии роковым: отправляя сюда Николая и Александру, Советское Правительство предполагало, что оно эвакуирует их в «глубокий тыл»; по тем же соображениям — в этот же глубокий тыл — в Алапаевск и Пермь эвакуирован был еще целый ряд членов «царствующего дома». Наступление Колчака и бунт чехо-словаков, приведший к захвату Екатеринбурга белыми, обратил этот тыл во фронт. Советской власти пришлось сделать из этого соответственные выводы. Поскольку Николай и другие могли быть использованы в затеянной Колчаком и чехо-словаками монархической игре и поскольку игра эта вновь подымала вопрос о царизме, казалось, добитом на смерть в дни февральского переворота, царистский вопрос был разрешен для России раз навсегда той твердой рукой, которой решает свои дела революция: в ночь с 16 на 17 июля расстреляна была, по постановлению Екатеринбургского Совета, вся бывшая царская фамилия; почти одновременно с ними расстрелян был содержавшийся в Перми — Михаил Александрович.

Этим сметена была с исторической сцены последняя память о последних царях, переживших царизм на семнадцать месяцев.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЦЕНА 70 КОП.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД: УЛИЦА ГЕРЦЕНА,
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ

